



КНИГА



НА ВСЕ
ВРЕМЕНА

Эрих Мария
РЕМАРК

Тени в раю

Эрих Мария Ремарк

Тени в раю

«АСТ»

1971

Ремарк Э.

Тени в раю / Э. Ремарк — «АСТ», 1971

ISBN 978-5-17-056332-6

Они вошли в американский рай, как тени. Люди, обожженные огнем Второй мировой. Беглецы со всех концов Европы, утратившие прошлое. Невротичная красавица манекенщица и циничный, крепко пьющий писатель. Дурочка-актриса и гениальный хирург. Отчаявшийся герой Сопротивления и щемяще-оптимистичный бизнесмен. Что может быть общего у столь разных людей? Хрупкость нелепого эмигрантского бытия. И святая надежда когда-нибудь вернуться домой...

ISBN 978-5-17-056332-6

© Ремарк Э., 1971

© АСТ, 1971

Содержание

Пролог	5
I	6
II	11
III	18
IV	25
V	33
VI	41
VII	48
VIII	55
IX	64
Конец ознакомительного фрагмента.	69

Эрих Мария Ремарк

Тени в раю

Пролог

В конце войны судьба забросила меня в Нью-Йорк. Пятьдесят седьмая улица и ее окрестности стали для меня, изгнанника, с трудом объяснявшегося на языке этой страны, почти что второй родиной.

Позади расстился долгий, полный опасностей путь – *via dolorosa*¹ всех тех, кто бежал от гитлеровцев. Крестный путь этот шел из Голландии через Бельгию и Северную Францию в Париж, а потом разветвлялся: одна дорога вела через Лион на побережье Средиземного моря, другая – через Бордо и Пиренеи в Испанию и Португалию, в лиссабонский порт.

Я прошел этот путь подобно многим другим, спасавшимся от гестапо. И в тех странах, через которые он пролегал, мы не чувствовали себя в безопасности, ибо только очень немногие из нас имели подлинное удостоверение личности, подлинную визу. Стоило попасть в руки жандармов, и нас сажали за решетку, приговаривали к тюремному заключению, к высылке. Впрочем, в некоторых странах еще сохранилось подобие человечности – нас по крайней мере не выдворяли в Германию на верную гибель в концлагерях.

Только немногим беженцам удалось раздобыть настоящие паспорта, поэтому бегство наше было нескончаемым. К тому же без документов мы нигде не могли работать легально. Большинство из нас были голодные, жалкие и одинокие. Вот почему мы и назвали путь наших странствий *via dolorosa*.

Вокзалами нам служили почтамты в маленьких городишках и побеленные ограды на шоссе. В почтовых отделениях нас могло ждать письмо, посланное до востребования родными и близкими, а заборы заменяли доски объявлений. Мелом и углем на них были выведены фамилии тех, кто потерялся, и тех, кто разыскивал друг друга, адреса, предостережения, указания. Призывы, брошенные в пустоту, да к тому же в годы тотального безразличия, вслед за которыми настала эпоха полной бесчеловечности – война, когда и гестапо, и полиция, а нередко и жандармы делали общее дело: охотились за нами, изгоями.

¹ Скорбный путь (*исп.*).

I

Несколько месяцев назад я прибыл на грузовом пароходе из Лиссабона в Америку, по-английски говорил с грехом пополам; казалось, меня, полунемого и полуглухого, высадили на другую планету. Да это и была другая планета. Ведь в Европе шла война.

К тому же документы у меня были не в порядке, хотя буквально чудом я стал обладателем настоящей американской визы, дававшей мне право на въезд. Но паспорт мой был на чужую фамилию. Иммиграционные власти отнеслись ко мне с недоверием и засадили на Эллис-Айленд. И лишь шесть недель спустя мне выдали временное удостоверение на три месяца. За этот срок я должен был обеспечить себе разрешение на въезд в какую-нибудь другую страну.

Знакомая картина. В Европе я жил долгие годы точно так же, и передышки длились иногда не месяцы, а дни. Эмигрировав из Германии в тридцать третьем, я официально стал политическим мертвецом. А теперь мне целых три месяца не надо было бежать. Непостижимое счастье!

Уж давно я перестал удивляться тому, что ношу чужое имя и живу по паспорту умершего. Напротив, это казалось в порядке вещей. Паспорт я получил в наследство во Франкфурте. Фамилия человека, подарившего мне его в день своей смерти, была Росс. Таким образом, и я теперь звался Роберт Росс. Свою настоящую фамилию я почти забыл. Люди многое забывают, когда речь идет о жизни и смерти.

На Эллис-Айленде я встретил турка, который лет десять назад уже приезжал в Америку. Не знаю, по какой причине ему сейчас не разрешили въезд в Штаты. Спрашивать не имело смысла. На моей памяти не раз случалось, что людей выслали только из-за того, что они не подходили ни под одну рубрику инструкции.

Турок дал мне адрес одного русского в Нью-Йорке, с которым он был знаком в давние времена. К сожалению, он не знал, жив ли этот человек. Но когда меня выпустили, я сразу отправился к нему. Поступок мой был вполне объясним. Я жил так уже годы. Людям, вынужденным постоянно быть в бегах, не оставалось ничего другого, как рассчитывать на случай. Чем невероятней был случай, тем естественнее он казался. И в наши дни обыденность иногда походит на сказку. Не очень-то веселую сказку, но как ни удивительно, конец у нее часто оказывается куда более счастливым, чем можно было ожидать.

Русский работал в маленькой обшарпанной гостинице недалеко от Бродвея. Он назвался Меликовым, говорил по-немецки и сразу же принял во мне участие. Он-то знал, что мне всего нужнее: пристанище и работа. Пристанище нашлось без труда: у русского оказалась лишняя койка, и он поставил ее к себе в комнату. Но работать с туристской визой было запрещено. Тут требовались другие бумаги – разрешение на въезд с номером иммиграционной квоты. Значит, работать я мог только нелегально. Так же было и в Европе, и я не очень сокрушался. Кроме того, у меня еще оставалось немного денег.

– А на что вы будете жить? Об этом вы подумали? – спросил Меликов.

– Во Франции я под конец работал торговым агентом, продавал сомнительные картины и подделки под старину.

– Вы что-нибудь в этом смыслите?

– Не слишком, но кое-что усвоил.

– Где?

– Я два года провел в Брюссельском музее.

– Работали там? – с удивлением спросил Меликов.

– Нет. Скрывался, – ответил я.

– От немцев?

– От немцев, которые оккупировали Бельгию.

– Два года? – снова удивился Меликов. – И вас так и не нашли?

– Нет. Нашли того человека, который меня прятал.

Меликов взглянул на меня.

– Вы успели удрать?

– Да.

– А что случилось с тем человеком?

– То, что обычно случалось. Его отправили в концлагерь.

– Он был немец?

– Бельгиец. Директор музея.

Меликов кивнул.

– Каким образом вам удалось так долго скрываться? – спросил он, помолчав немного. – Разве в музее не было посетителей?

– Конечно, были. Днем я сидел взаперти в подвале, где находился запасник. Вечером являлся директор, приносил еду и на ночь выпускал меня из моего убежища. Из здания музея я не выходил, но мог выбираться из подвала. Свет, разумеется, нельзя было зажигать.

– А служащие музея что-нибудь знали?

– Нет. В запаснике не было окон. А когда кто-нибудь спускался в подвал, я сидел не шевелясь. Больше всего боялся чихнуть не вовремя.

– Вас из-за этого и обнаружили?

– Да нет. Кто-то обратил внимание, что директор либо чересчур часто засиживается в музее, либо возвращается туда по вечерам.

– Понятно, – сказал Меликов. – А читать вы могли?

– Только в летние ночи или при лунном свете.

– Но ночью вам разрешалось гулять по музею и рассматривать картины?

– Да, пока они были видны.

Меликов улыбнулся и неожиданно спросил:

– Хотите есть?

– Да, – сказал я. – И даже очень.

– Так я и думал. Стоит человеку очутиться на свободе – и у него появляется волчий аппетит. Поедим в аптеке.

– В аптеке?

– Да, в drugstore. Это одна из особенностей Штатов. В аптеке покупают аспирин и заку-
сывают.

– Чем вы занимались целый день в музее, чтобы не сойти с ума? – спросил Меликов.

Я окинул взглядом аптеку: у длинной стойки люди торопливо жевали, глядя на реклам-
ные плакаты и бутылки с лекарствами.

– А что мы тут будем есть? – спросил я в свою очередь.

– Котлеты. Это блюдо да еще венские сосиски – основная пища американцев. Бифштексы не по карману простому люду.

– Чем я занимался в музее? Ждал вечера. И, конечно, по возможности избегал думать об опасности, которая мне угрожала. Иначе я бы очень скоро свихнулся. Впрочем, у меня был опыт – уже несколько лет, как я скрывался. Один год даже в самой Германии. Вот я и не позволял себе думать, что допустил хоть какую-нибудь оплошность. Раскаяние разъедает душу сильнее, чем соляная кислота. Это занятие для спокойных эпох. Ну, а потом я без конца занимался французским, сам себе давал уроки французского. Позже я стал ночами бродить по залам музея, рассматривать картины, запоминать их. Скоро я уже знал все полотна. И сидя днем в крошечной тьме, мысленно восстанавливал их в памяти. Я представлял их себе, следуя определенной системе, по порядку, иной раз на одну какую-нибудь картину тратил много дней. Порою на меня нападало отчаяние, но потом я начинал все сызнова. Если бы я просто

любовался картинами, то, наверное, пропал бы. Но я придумал себе своего рода упражнение для памяти и благодаря этому все время совершенствовался. Теперь я уже не бился головой об стенку, я как бы поднимался вверх, ступенька за ступенькой. Понимаете?

– Да, вы не давали себе покоя, – сказал Меликов. – И у вас была цель. Это спасает.

– Одно лето я не расставался с Сезанном и с несколькими картинами Дега. Разумеется, это были воображаемые картины, и только в воображении я мог их оценить. Но все же я оценивал их. То был своего рода вызов судьбе. Я заучивал наизусть цвета и композицию, хотя никогда не видел ни одного цвета днем. Это был лунный Сезанн и ночной Дега. И я запоминал и сопоставлял эти картины в их сумеречном воплощении. Позже я нашел в библиотеке книги по искусству. И, присев под подоконником, усердно изучал их. Призрачный мир, но все же это был мир.

– Разве музей не охранялся?

– Только в дневные часы. Вечером его просто запирали. На мое счастье.

– И на несчастье человека, который носил вам еду.

– На несчастье человека, который прятал меня, – сказал я спокойно, взглянув на Меликова. Я понимал, что за его словами ничего не кроется, он не хотел меня обидеть. Просто констатировал факт.

– Не надейтесь стать нелегальным мойщиком тарелок, – сказал Меликов. – Это романтические бредни! Да и с тех пор, как существуют профсоюзы, такая возможность отпала. Сколько времени вы можете продержаться и не умереть с голоду?

– Совсем недолго... Сколько стоит этот завтрак?

– Полтора доллара. С начала войны здесь все дорожает.

– Войны? – сказал я. – Какая здесь война?

– Война идет! – возразил Меликов. – И опять-таки на ваше счастье. Требуются люди.

Безработицы пока нет. Вам легче будет устроиться.

– Через два месяца мне снова придется удирать.

Меликов рассмеялся, зажмурив маленькие глазки.

– Америка – огромная страна. И война идет. На ваше счастье. Где вы родились?

– Согласно паспорту – в Гамбурге, на самом деле – в Ганновере.

– Ни в том, ни в другом случае это вам не грозит высылкой. Но вы можете угодить в лагерь для интернированных.

– В одном таком лагере я уже побывал. Во Франции, – сказал я, пожав плечами.

– Бежали?

– Скорее, просто ушел. После поражения, когда началась всеобщая неразбериха.

Меликов кивнул.

– Я тоже жил во Франции, когда началась всеобщая неразбериха в восемнадцатом году...

Но только после победы – как оказалось, впрочем, весьма призрачной. Не выпить ли нам сейчас водки?

– Я привык с опаской относиться к алкоголю, – ответил я. – Несколько раз я из-за него переоценивал свои силы. И дважды это привело к весьма плачевным результатам... к тюремной камере, кишевшей насекомыми.

– В Испании?

– В Северной Америке.

– И все же давайте рискнем в третий раз. Тюремные камеры здесь чистые. Водка у меня в гостинице, тут вам не подадут ни капли... А вы романтик? – спросил он немного погодя.

– Для меня это – непозволительная роскошь. Полиция хватает романтиков чаще, чем всех прочих.

– Насчет полиции можете несколько месяцев не беспокоиться.

– Да, верно. Трудно сразу привыкнуть к этому.

Мы пошли к Меликову в гостиницу, но скоро мне стало там невмоготу. Я не хотел пить, не хотел сидеть среди потертого плюша, а комната у Меликова была совсем маленькая. Меня тянуло еще раз выйти на улицу, слишком долго я просидел взаперти. Даже Эллис-Айленд был тюрьмой – пусть сравнительно благоустроенной, но все же тюрьмой. Замечание Меликова о том, что в ближайшие два месяца можно не бояться полиции, не выходило у меня из головы. Два месяца – поразительно долгий срок!

– Сколько я еще могу гулять? – спросил я.

– Сколько хотите.

– Когда вы ложитесь спать?

Меликов небрежно махнул рукой.

– Не раньше утра. У меня сейчас самая работа. Желаете найти себе женщину? В Нью-Йорке это не так просто, как в Париже. И довольно рискованно.

– Нет. Я просто хочу побродить по городу.

– Женщину легче найти здесь, в гостинице.

– Мне она не нужна.

– Женщина нужна всегда.

– Только не сегодня.

– Стало быть, вы все же романтик, – сказал Меликов. – Запомните номер улицы и название гостиницы. Гостиница «Ройбен». В Нью-Йорке легко найти дорогу: почти все улицы пронумерованы, только немногие имеют название.

Совсем как я. И я стал номером, который носит случайное имя, мелькнуло у меня в голове. Какая успокоительная безымянность; имена приносили мне слишком много неприятностей.

Я бесцельно шел по этому безымянному городу. Грязные испарения его поднимались к небу. Ночью это был мрачный огненный столп, днем – белесый, как облако. Похоже, что именно так Господь Бог указывал в пустыне дорогу первому племени изгнанников, первым эмигрантам. Я шел сквозь бурю слов, шума, смеха, криков, которые глухо бились о мои барабанные перепонки, я слышал гул, не улавливая его смысл. После погруженной во мрак Европы люди казались мне Прометейями – вот потный детина в сполохах электрического света протягивает из дверей магазина руку, увешанную полотенцами и носками, умоляя прохожих купить его товар; вот повар жарит пищу на огромной сковородке, а вокруг него так и летают искры, будто он не человек, а некое древнее божество. Я не понимал чужую речь, потому от меня ускользал и почти символический смысл пантомимы. Мне казалось, будто все происходит на сцене и передо мной не повара, не зазывалы, не продавцы, а марионетки, которые разыгрывают неведомую пьесу; я один в ней не участвую и угадываю лишь общий ее смысл. Я был в толпе и в то же время чувствовал себя чужим, неприкаянным, отрезанным от людей; нас разделяла не стеклянная стена, не расстояние, не враждебность и не отчужденность, а что-то незримое. Это «что-то» касалось меня одного и коренилось во мне самом. Смутно я понимал: мгновение это неповторимо, оно никогда не вернется – уже завтра острота чувств притупится. И не потому, что окружающее станет мне ближе, – как раз наоборот. Возможно, уже завтра я начну борьбу за существование – буду ползать на брюхе, идти на компромиссы, фальшивить, нагромождая горы той полужли, из которой и состоят наши будни. Но сегодня ночью город еще являл мне свое неразгаданное лицо.

И вдруг я понял: добравшись до чужих берегов, я отнюдь не избежал опасности, – напротив: именно сейчас она угрожала мне с особой силой. Угрожала не извне, а изнутри. Очень долго я думал только о том, чтобы сохранить себе жизнь. В этом и заключалось мое спасение. То был примитивный инстинкт самосохранения, инстинкт, который возникает на тонущем корабле, когда начинается паника и у человека одна цель – остаться в живых.

Но уже скоро, с завтрашнего дня, а может, даже с этой диковинной ночи, действительность раскроется передо мной по-новому, и у меня опять появится будущее, а стало быть, и прошлое. Прошлое, которое убивает, если не сумеешь его забыть или зачеркнуть. Я понял внезапно, что та корка льда, которая успела образоваться, еще долгое время будет слишком тонкой, ходить по ней опасно. Лед провалится. И этого надо избежать. Смогу ли я начать жизнь во второй раз? Начать сначала – познать то, что простирается передо мной, так же, как я познаю этот чужой язык? Смогу ли я начать снова? И не будет ли это предательством, двойным предательством по отношению к мертвым, к людям, которые были мне дороги?

Я быстро повернулся и пошел назад, смущенный и глубоко взволнованный. Теперь я уже не глазел по сторонам. А когда увидел перед собой гостиницу, у меня вдруг радостно забило сердце. Другие гостиницы лезли вширь и вверх, стараясь быть позаметней, а эта была тихой и незаметной.

Я вошел в вестибюль, уродливо отделанный «под мрамор», и увидел Меликова, дремавшего в качалке позади стойки. Он открыл глаза, и мне на секунду показалось, что у него нет век, как у старого попугая. Потом его глаза поголубели и посветлели.

– Вы играете в шахматы? – спросил он, вставая.

– Как все эмигранты.

– Хорошо. Пойду принесу водку.

Он пошел наверх. Я огляделся. Почему-то мне почудилось, что я дома. Человеку, который давно не имел дома, часто приходят в голову подобные мысли.

II

В английском я делал большие успехи, и недели через две мой словарный запас был уже как у пятнадцатилетнего подростка. По утрам я несколько часов проводил среди красного плюша гостиницы «Ройбен» – зубрил грамматику, а во второй половине дня изыскивал возможности для устной практики. Действовал я без малейшего стыда и стеснения. Заметив, что за десять дней, проведенных с Меликовым, у меня появился русский акцент, я тут же перекинулся на постояльцев и служащих гостиницы. И поочередно усваивал самые разнообразные акценты: немецкий, еврейский, французский. Под конец, сведя дружбу с уборщицами и горничными и уверовав, что они-то и есть стопроцентные американки, я начал говорить с явным бруклинским акцентом.

– Надо тебе завести роман с молоденькой американкой, – сказал Меликов: за это время мы перешли с ним на «ты».

– Из Бруклина? – спросил я.

– Лучше из Бостона. Там всего правильнее говорят.

– Тогда уж надо найти учительницу из Бостона. Это было бы самое рациональное.

– К несчастью, наша гостиница – караван-сарай. Различные акценты носятся в воздухе, как тифозные бактерии, а ты, увы, легко перенимаешь все отклонения от нормы и совершенно глух к нормальной речи. Надеюсь, тебе поможет любовь.

– Владимир, – сказал я, – мир и так уже слишком быстро меняется для меня. С каждым днем мое английское «я» становится на год старше, и, к великому сожалению, мир этого «я» теряет свои чары. Чем лучше я понимаю язык, тем скорее исчезает таинственность. Пройдет еще несколько недель, и оба мои «я» уравновесятся. Американское «я» станет столь же скучно трезвым, как и европейское. Дай срок! И оставь в покое мое произношение. Я не хочу, чтобы мое второе детство пролетело так быстро.

– Не бойся, не пролетит. Пока что твой умственный кругозор равен кругозору зеленщика-меланхолика по имени Аннибале Бальбо, который торгует здесь на углу. Ты уже и так пересыпаешь свою речь итальянскими словечками, они плавают в твоём английском, как волокна мяса в рисовом супе по-итальянски.

– А вообще-то существуют настоящие, коренные американцы?

– Конечно. Но через нью-йоркский порт на город обрушивается лавина эмигрантов – ирландцы, итальянцы, немцы, евреи, армяне и еще десятки разных национальностей. Как там говорят у вас: «Здесь ты человек, здесь ты можешь существовать»². Здесь ты эмигрант, здесь ты можешь существовать. Эта страна основана эмигрантами. Отбрось свои европейские комплексы неполноценности. Здесь ты снова человек, а не истерзанный комок плоти, прилепленный к собственному паспорту.

Я поднял глаза от шахматной доски.

– Ты прав, Владимир, – сказал я медленно. – Посмотрим, сколько это продлится.

– Не веришь, что это будет длиться долго?

– Как я могу верить?

– Во что же ты веришь?

– В то, что с каждым днем мне становится хуже, – ответил я.

Незнакомый человек, прихрамывая, шел по вестибюлю. Мы сидели в полутьме, и я лишь смутно видел вошедшего. Однако его странная хромота в ритме трех четвертей такта напомнила мне кого-то.

– Лахман, – сказал я вполголоса.

² Строка из Гете.

Незнакомец остановился и взглянул в мою сторону.

– Лахман! – повторил я.

– Моя фамилия Мертон, – ответил он.

Я шелкнул выключателем. Из весьма жалкой люстры, представлявшей собою наихудший образец модерна начала двадцатого века, заструился безрадостно-тусклый свет – желтый и синеватый.

– Боже мой! Роберт! – воскликнул вошедший с удивлением. – Ты жив? А я думал, ты уже давно погиб.

– То же самое я думал о тебе. Но узнал тебя по походке.

– По моей хромоте в три четверти такта?

– По твоему вальсирующему шагу, Курт. Ты знаком с Меликовым?

– Конечно, знаком.

– Живешь здесь?

– Нет. Но иногда захаживаю.

– Теперь твоя фамилия Мертон?

– Да. А твоя?

– Росс. Имя осталось то же.

– Вот как люди встречаются, – сказал Лахман, слегка усмехнувшись.

Мы немного помолчали. Всегдашняя тягостная пауза при встрече эмигрантов. Никогда ведь не знаешь, о ком и о чем можно спрашивать. Не знаешь, кого уже нет в живых.

– Ты слышал что-нибудь о Кане? – спросил я наконец.

И это был обычный прием. Сначала осторожно узнать о людях, которые не так уж близки твоему собеседнику.

– Он в Нью-Йорке, – ответил Лахман.

– Он тоже? Как ему удалось перебраться сюда?

– А как все перебирались сюда. Благодаря тысяче случайностей. Никого ведь из нас не было в составленном американцами списке знаменитостей.

Меликов выключил верхний свет и вытащил бутылку из-под стойки.

– Американская водка, – сказал он. – Нечто вроде калифорнийского бордо или бургундского из Сан-Франциско. Или рейнского из Чили. Салют! Одно из преимуществ эмиграции в том, что приходится часто прощаться и посему можно часто выпивать в честь новой встречи. Создается иллюзия долголетия.

Ни Лахман, ни я не ответили ему. Меликов был человеком иного поколения: то, что нам еще причиняло боль, для него уже стало воспоминанием.

– Салют, Владимир! – Я первый прервал молчание. – И почему мы не родились йогами?

– Я бы удовольствовался меньшим – не родиться евреем в Германии, – сказал Лахман-Мертон.

– Воспринимайте себя как первых граждан мира, – невозмутимо заметил Меликов. – И ведите себя соответственно как первооткрыватели. Настанет время, и вам будут ставить памятники.

– Когда? – спросил Лахман.

– Где? – спросил я.

– На Луне, – сказал Меликов и пошел к конторке, чтобы выдать ключ постояльцу.

– Остряк, – сказал Лахман, поглядев ему вслед. – Ты работаешь на него?

– То есть?

– Девочки. При случае морфий и тому подобное. Кажется, он и букмекер к тому же.

– Ты из-за этого сюда пришел?

– Нет. Я по уши влюбился в одну женщину. Ей, представь себе, пятьдесят, она родом из Пуэрто-Рико, католичка и без ноги. Ей ампутировали ногу. У нее шуры-муры с одним мекси-

канцем. Явным сутенером. За пять долларов он согласился бы сам постелить нам постель. Но этого она не хочет. Ни в коем случае. Верит, что Господь Бог взирает на нас, сидя на облаке. И по ночам тоже. Я сказал ей: Господь Бог близорук. Уже давно. Не помогает. Но деньги она берет. И обещает. А потом смеется. И опять обещает. Что ты на это скажешь? Неужели я для этого приехал в Штаты? Черт знает что!

У Лахмана из-за хромоты появился комплекс неполноценности, но, судя по его рассказам, раньше он пользовался феноменальным успехом у дам. Об этом прослышал один эсэсовец и затащил Лахмана в пивнушку штурмовиков в районе Берлин-Вильмерсдорф – хотел его оскопить. Но эсэсовцу помешала полиция – это было еще в тридцать четвертом. Лахман отделался несколькими шрамами и четырьмя переломами ноги, которые плохо срослись. С тех пор он стал хромать и пристрастился к женщинам с легкими физическими изъянами. Остальное ему безразлично, лишь бы дама обладала солидным и крепким задом. Даже во Франции в невыносимо тяжелых условиях Лахман продолжал свою карьеру бабника. Он уверял, что в Руане крутил любовь с трехгрудой женщиной, у которой к тому же груди были на спине.

– А задница у нее твердая как камень, – протянул он мечтательно, – горячий мрамор.

– Ты ничуть не изменился, Курт, – сказал я.

– Человек вообще не меняется. Несмотря на то, что дает себе тысячу клятв. Когда тебя кладут на обе лопатки, ты полон раскаяния, но стоит вздохнуть свободнее, и все клятвы забыты, – Лахман на секунду задумался. – Что это: героизм или идиотизм?

На его сером, изрезанном морщинами лбу выступили крупные капли пота.

– Героизм, – сказал я, – в нашем положении надо украшать себя самыми хвалебными эпитетами. Не стоит заглядывать чересчур глубоко в душу, иначе скоро наткнешься на отстойник, куда стекаются нечистоты.

– Да и ты тоже ничуть не изменился. – Лахман-Мертон вытер пот со лба мятым носовым платком. – По-прежнему склонен к философствованию. Правда?

– Не могу отвыкнуть. Это меня успокаивает.

Лахман неожиданно усмехнулся:

– Дает тебе чувство превосходства! Вот в чем дело. Дешевка!

– Превосходство не может быть дешевой.

Лахман умолк.

– Зачем возражать? – сказал он. И немного погодя со вздохом вытащил из кармана пиджака какой-то предмет, завернутый в папиросную бумагу. – Четки, собственноручно освященные папой. Настоящее серебро и слоновая кость. Как ты думаешь, на нее это подействует?

– Каким папой?

– Прием. Каким же еще?

– Бенедикт Пятнадцатый был бы лучше.

– Что? – Лахман взглянул на меня, явно сбитый с толку. – Ведь Бенедикт умер. Что ты мелешь?

– У него чувство превосходства было развито сильнее. Как у всех мертвецов, впрочем.

И это уже не дешевка.

– Ах, вот как. Ты ведь тоже остряк! Совсем забыл. Последний раз, когда я тебя видел...

– Замолчи! – сказал я.

– Что?

– Замолчи, Курт. Не надо.

– Ладно. – Лахман поколебался секунду. Потом желание излить душу победило. Он развернул светло-голубую папиросную бумагу. – Маленький кусочек оливкового дерева из Гефсиманского сада. Подлинность заверена официально. Неужели и это не подействует? – Лахман не отрываясь смотрел на меня умоляющим взглядом.

– Конечно, подействует. А бутылки иорданской воды у тебя не найдется?

– Нет.

– Тогда налей.

– Что?

– Налей воды в бутылку. В вестибюле есть кран. Подмешай немного пыли, чтобы выглядело естественно. Никто ведь ничего не заподозрит, у тебя уже есть нотариально заверенные четки и оливковая ветвь. Не хватает только иорданской водицы.

– Не наливать же ее в водочную бутылку!

– Отчего нет! Соскребем наклейку! У бутылки достаточно восточный вид. Твоя пуэрториканка наверняка не пьет водку. В лучшем случае ром.

– Она пьет виски. Странно, правда?

– Нет.

Лахман задумался.

– Бутылку надо запечатать – так будет правдоподобнее. У тебя есть сургуч?

– Еще чего захотел? Визу и паспорт? Откуда у меня сургуч?

– У человека бывают самые неожиданные вещи. Я, например, много лет таскал с собой кроличью лапку, и когда...

– Может, у Меликова найдется?

– Верно! Он постоянно запечатывает посылки. Как я сам не додумался!

Лахман, хромая, отчалил.

Я откинулся на спинку кресла. Было почти темно. Тени и призраки умчались на вечернюю улицу сквозь светлый дверной проем. В зеркале напротив тускло-серое пятно тщетно пыталось приобрести серебристый блеск. Плюшевые кресла стали лиловыми, и на мгновение мне показалось, что на них запеклась кровь. Очень много крови. Где я видел столько крови?.. Кровь на трупах в маленькой серой комнате, за окнами которой полыхал невиданный закат. И от этого все предметы потеряли свою яркость и стали как бы грязными – серочерными и темно-бурыми, почти лиловыми. Все приобрело эти цвета, даже человек у окна. Внезапно он повернул голову, и на него упали лучи заходящего солнца: одна половина лица стала огненной, другая – оказалась в тени. И тут раздался голос, неожиданно высокий, писклявый. «Продолжаем! Следующий», – произнес он с легким саксонским акцентом.

Я повернулся и опять щелкнул выключателем. Прошло много лет, прежде чем я научился спать без света. И стоило мне заснуть, как я тут же в испуге вскакивал, меня будили омерзительные сны. Даже теперь я с большой неохотой выключал по ночам свет и не любил спать один.

Я поднялся и вышел из холла. Лахман стоял с Меликовым у маленькой конторки возле входа.

– Все в порядке, – торжествующе сказал Лахман. – Взгляни! У Владимира нашлась старая русская монетка, мы припечатаем ею пробку. Древнеславянская вязь. Кто усомнится, что воду в эту бутылку не налили греческие монахи из монастыря на реке Иордан?

Сургуч капал на пробку. При свече, которая стояла рядом, он казался светло-красным.

Что со мной творится, думал я. Ведь все уже позади! Я спасен! Там на улице бурлит жизнь! Спасен! Разве я спасен? Разве я действительно убежал от них? И от теней тоже?

– Пойду прогуляюсь немного, – сказал я. – В голове у меня каша из английских слов! Надо проветриться. Servus!³

Когда я вернулся, Меликов уже приступил к своим обязанностям. В этой гостинице он совмещал множество различных должностей – работал дневным портье, иногда ночным и одновременно выполнял всякие мелкие поручения. В эту неделю он был ночным портье.

– Где Лахман? – спросил я.

³ Привет! (лат.)

– Наверху, у своего предмета.

– Ты веришь, что сегодня ему улыбнется счастье?

– Нет. Она поведет его и мексиканца ужинать. Платить будет Лахман. Всегда он был такой?

– Да. Только более везучий. Утверждает, что стал интересоваться калекками и увечными лишь после того, как начал хромать. Раньше у него был нормальный вкус. Быть может, он так деликатен, что стыдится красивых женщин. Кто знает...

В дверь проскользнула чья-то тень. То была тонкая, высокая женщина с маленькой головкой. На ее бледном лице выделялись серые глаза, волосы у нее были русые и казались крашеными. Меликов встал.

– Наташа Петрова⁴, – сказал он. – Давно вы вернулись?

– Две недели назад.

Я тоже встал. Женщина была почти одного роста со мной. В темном облегающем костюме она выглядела очень худой. Говорила она как-то чересчур торопливо, и голос у нее был, пожалуй, слишком громкий и словно прокуренный.

– Рюмку водки? – спросил Меликов. – Или виски?

– Водки. Один глоток. Мне пора идти фотографироваться.

– В такой поздний час?

– Да, на весь вечер. Фотограф свободен только по вечерам. Платья и шляпы. Маленькие шляпки. Совсем крохотные.

Только сейчас я заметил, что Наташа Петрова была в шляпке без полей, до крайности воздушной и надетой слегка набок.

Меликов ушел за водкой.

– Вы не американец? – спросила девушка.

– Нет, немец.

– Ненавижу немцев.

– Я тоже, – согласился я.

Она взглянула на меня с изумлением.

– Я не говорю о присутствующих.

– И я тоже.

– Я – француженка. Вы должны меня понять. Война...

– Понимаю, – сказал я равнодушно. Уже не в первый раз меня делали ответственным за преступления фашистского режима в Германии. И постепенно это перестало трогать. Я сидел в лагере для интернированных во Франции, но не возненавидел французов. Объяснять это, впрочем, было бесполезно. Тот, кто умеет только ненавидеть или только любить, – завидно примитивен.

Меликов принес бутылку и три очень маленькие рюмки, которые налил доверху.

– Я не хочу, – сказал я.

– Обиделись? – спросила девушка.

– Нет. Просто мне сейчас не хочется пить.

Меликов ухмыльнулся.

– Ваше здоровье – сказал он и поднял рюмку.

– Напиток богов! – Девушка залпом осушила свою рюмку.

Я почувствовал себя дураком: зря отказался от водки, но теперь уже было поздно.

Меликов поднял бутылку.

– Еще по одной, Наталья Петровна?

⁴ В оригинале: «Наташа Петровна».

– Merci⁵, Владимир Иванович, хватит! Пора уходить. Au-revoir⁶. – Она крепко пожала мне руку. – Au-revoir, monsieur.

– Au-revoir, madame.

Меликов пошел ее проводить. Вернувшись, он спросил:

– Она тебя разозлила?

– Нет.

– Не обращай внимания. Она всех злит. Сама того не желая.

– Разве она не русская?

– Родилась во Франции. Почему ты спрашиваешь?

– Я довольно долго жил среди русских эмигрантов. И заметил, что их женщины из чисто спортивного интереса задирают мужчин куда чаще, чем рекомендуется.

Меликов осклабился.

– Не вижу здесь ничего худого. Иногда полезно вывести мужчину из равновесия. Все лучше, чем по утрам с гордым видом начищать пуговицы на его мундире и надраивать ему сапоги, которыми он будет потом топтать ручонки еврейских детей.

– Сдаюсь! Сегодня немецкие эмигранты здесь не в чести. Налей-ка мне лучше водки, от которой я только что отказался.

– Хорошо.

Меликов прислушался.

– Вот и они!

По лестнице спускались двое. Я услышал необыкновенно звучный женский голос. Это были пуэрториканка и Лахман. Она шла немного впереди, не обращая внимания на то, следует ли он за ней. И не хромала. По ее походке не было заметно, что у нее протез.

– Сейчас поедут за мексиканцем, – прошептал Меликов.

– Бедняга Лахман, – сказал я.

– Бедняга? – удивился Меликов. – Нет, он просто хочет того, чего у него нет.

– Единственное, что нельзя потерять. Правда? – Я засмеялся.

– Бедняга тот, кто больше ничего не хочет.

– Разве? – сказал я. – А я полагал, что тогда становишься мудрецом.

– У меня другое мнение. Что с тобой сегодня случилось? Нужна женщина?

– Обычно эмигранты норовят быть вместе. А тебе, по-моему, ни до кого нет дела.

– Не хочу вспоминать.

– Поэтому?

– И не хочу увязнуть в эмигрантских делах, окунуться в атмосферу незримой тюрьмы.

Слишком хорошо все это изучил.

– Желаешь, значит, стать американцем?

– Никем я не желаю стать. Просто хочу кем-то быть, наконец. Если мне это позволят.

– Громкие слова!

– Надо самому набираться мужества. Никто этого за тебя не сделает.

Мы сыграли еще партию в шахматы. Мне объявили мат. Потом постояльцы начали понемногу возвращаться в гостиницу, и Меликову приходилось то выдавать ключ, то разносить по номерам бутылки и сигареты.

Я продолжал сидеть. И правда, что со мной случилось? Я решил сказать Меликову, что хочу снять отдельный номер. Почему – я и сам не знал. Мы друг другу не мешали, и Меликову было безразлично, живем мы вместе или нет. Но для меня вдруг стало очень важно попробовать спать в одиночестве. На Эллис-Айленде мы все спали вповалку в большом зале; во фран-

⁵ Спасибо (франц.).

⁶ До свидания (франц.).

цузском лагере для интернированных было то же самое. Конечно, я знал, что стоит мне очутиться одному в комнате, и я начну вспоминать времена, которые предпочел бы забыть. Ничего не поделаешь! Не мог же я вечно избегать воспоминаний.

III

С братьями Лоу я познакомился в ту самую минуту, когда косые лучи солнца окрасили антикварные лавки на правой стороне улицы в сказочный золотисто-желтый цвет, а витрины на противоположной стороне затянуло предвечерней паутиной. В это время дня стекла начали жить самостоятельной жизнью – отраженной жизнью, вбирая в себя чужой свет; примерно такую же обманчивую жизнь обретают намалеванные часы над магазинами оптики, когда время, которое показывают рисованные стрелки, совпадает с действительным. Я открыл дверь лавки; из помещения, похожего на аквариум, вышел один из братьев Лоу – рыжий. Он поморгал немного, чихнул, посмотрел на мягкий закат, еще раз чихнул и заметил меня. А я той порой наблюдал за тем, как антикварная лавка постепенно превращалась в пещеру Аладина.

– Прекрасный вечер, правда? – сказал он, глядя в пространство.

Я кивнул.

– Какая у вас прекрасная бронза.

– Подделка, – сказал Лоу.

– Разве она не ваша?

– Почему вы так думаете?

– Потому что вы сказали – это подделка.

– Я сказал, что бронза – подделка, потому что она подделка.

– Великие слова, – сказал я, – особенно в устах торговца.

Лоу снова чихнул и опять поморгал.

– Я и купил ее как подделку. Мы здесь любим истину.

Сочетание слов «подделка» и «истина» было просто восхитительно в это мгновение, когда засверкали зеркала.

– А вы уверены, что, несмотря на это, бронза может быть настоящей? – спросил я.

Лоу вышел из дверей и осмотрел бронзу, лежавшую на качалке.

– Можете купить ее за тридцать долларов – и еще в придачу подставку из тикового дерева.

Резную.

Весь мой капитал был равен восьмидесяти долларам.

– Я хотел бы взять ее на несколько дней, – сказал я.

– Хоть на всю жизнь. Только заплатите сперва.

– А на пробу? Дня на два?

Лоу повернулся.

– Я ведь вас не знаю. В последний раз я дал две статуэтки мейсенского фарфора одной даме, внушавшей полное доверие. На время.

– Ну и что? Дама исчезла навсегда?

– Тут же пришла опять. С разбитыми статуэтками. Какой-то человек в переполненном автобусе выбил статуэтки у нее из рук ящиком с инструментом.

– Не повезло!

– Дама так плакала, словно потеряла ребенка. Двух детей сразу. Близнецов. Фигурки были парные. Что делать? Денег у нее не было. Платить оказалось нечем. Она хотела поддержать статуэтки у себя несколько дней, полюбоваться. И позлить приятельниц, которых собиралась позвать на бридж. Все очень по-человечески. Правда? Но что было делать нам? Плакали наши денежки. Сами видите, что...

– Бронзу разбить не так легко. Особенно если это подделка.

Лоу посмотрел на меня внимательно.

– Вы в этом сомневаетесь?

Я не ответил.

– Давайте тридцать долларов, – сказал он, – подержите у себя эту штуку неделю, потом можете вернуть обратно. А если вы ее оставите и продадите, прибыль пополам. Ну, как?

– Грабеж среди белого дня. Но я все равно согласен.

Я был не очень уверен в своей правоте, поэтому принял предложение. Бронзовую фигуру я поставил у себя в номере.

Лоу-старший сказал мне еще, что бронзу списали из Нью-Йоркского музея как подделку. В этот вечер я остался дома. Стемнело, но я не зажигал света. Лег на постель и стал смотреть на фигуру, которая стояла перед окном. За то время, что я пробыл в Брюссельском музее, я усвоил одну истину: вещи начинают говорить, только когда на них долго смотришь. А те вещи, которые говорят сразу, далеко не самые лучшие. Блуждая ночью по залам музея, я иногда забирал с собой какую-нибудь безделушку в темный запасник, чтобы там ее ощупать. Часто это были бронзовые скульптуры, и так как Брюссельский музей славился своей коллекцией древней китайской бронзы, я с разрешения моего спасителя иногда уносил в запасник какую-нибудь из фигур. Я мог себе это позволить, поскольку сам директор зачастую брал домой для работы тот или иной экспонат. И если в музее недосчитывались какой-нибудь скульптуры, он говорил, что она у него.

Так у меня выработалось особого рода умение оценивать на ощупь патину. К тому же я провел много ночей у музейных витрин и узнал кое-что о фактуре старых окисей, хотя никогда не видел их при дневном свете. Но как у слепого вырабатывается безошибочное осязание, так и у меня за это время появилось нечто похожее. Конечно, я не во всех случаях доверял себе, но иногда я был совершенно уверен в своей правоте.

Эта бронза показалась мне в лавке на ощупь настоящей; правда, ее очертания и рельефы были чересчур определены, что, возможно, как раз и не понравилось музейным экспертам, но все же она не производила впечатления позднейшей подделки. Линии были четкие. А когда я закрыл глаза и начал обстоятельно, очень медленно водить пальцами по фигуре, ощущение, что бронза настоящая, еще усилилось.

В Брюсселе я не раз встречался с подобными скульптурами. И о них тоже сперва говорили, что это копия эпохи Тан или Мин. Дело в том, что китайцы уже во времена Хань, то есть примерно с начала нашего летосчисления, копировали и закапывали в землю свои скульптуры эпохи Шан и Чжоу. Поэтому по патине трудно было определить подлинность работы, если в орнаменте или в отливке не обнаруживали каких-либо характерных мелких изъянов.

Я опять поставил бронзу на подоконник. Со двора доносились металлические голоса судомоек, постукивание мусорных урн и мягкий гортанный бас негра, который эти урны выносил. Вдруг дверь распахнулась. В освещенном четырехугольнике я различил силуэт горничной, увидел, как она отпрянула назад, крикнув:

– Мертвец!

– Какая чушь, – сказал я. – Не мешайте спать. Закройте дверь. Я уже приготовил себе постель.

– И вовсе вы не спите! Что это такое? – Она разглядывала бронзу.

– Зеленый ночной горшок, – отрезал я. – Разве не видите?

– И чего только люди не придумают! Но зарубите себе на носу: утром я его не стану выносить! Ни за что. Выносите сами. В доме хватает уборных.

– Хорошо.

Я снова лег и заснул, хотя не собирался спать. Когда я проснулся, была глубокая ночь. И я сразу не мог сообразить, где нахожусь. Потом увидел бронзу, и мне на минуту показалось, что я снова в музее. Я сел и начал глубоко дышать. Нет, я уже не там, неслышно говорил я себе, я убежал, я свободен, свободен, свободен. Слово «свободен» я повторял ритмично: про себя, а потом стал повторять вслух – тихо и настойчиво; я произносил его до тех пор, пока

не успокоился. Так я часто утешал себя в годы преследований, когда просыпался в холодном поту. Потом я поглядел на бронзу: цветные отсветы на ней вбирали в себя ночную тьму. И вдруг я почувствовал, что бронза живая. И не из-за своей формы, а из-за патины. Пatina не была мертвой. Никто не наносил ее нарочно, никто не вызывал искусственно, травя шероховатую поверхность кислотами, патина нарастала сама по себе, очень медленно, долгие века; поднималась из воды, омывавшей бронзу, и из земных недр, минералы которых срастались с ней; первоосновой патины были, очевидно, фосфорные соединения, на что указывала незаметная голубая полоска у основания скульптуры, а фосфорные соединения возникли сотни лет назад из-за соседства с мертвым телом. Патина слегка поблескивала, как поблескивала в музее неполированная бронза эпохи Чжоу. Пористая поверхность не поглощала свет, подобно поверхности бронзовых фигур, на которые патину нанесли искусственно. Свет придавал ей некоторую шелковистость, делал ее похожей на грубый шелк-сырец.

Я поднялся и сел к окну. Там я сидел очень долго, почти не дыша, в полной тишине, весь отдавшись созерцанию, которое мало-помалу заглушало во мне все мысли и страхи.

Я продержал у себя скульптуру еще два дня, а потом отправился на Третью авеню. На сей раз в лавке был и второй брат Лоу, очень похожий на первого, только более элегантный и более сентиментальный, насколько это вообще возможно для торговца стариной.

– Вы принесли скульптуру обратно? – спросил первый и тут же вытащил бумажник, чтобы вернуть мне тридцать долларов.

– Скульптура настоящая, – сказал я.

Он поглядел на меня добродушно и с интересом.

– Из музея ее выбросили.

– Уверен, что она настоящая. Я пришел возратить ее вам. Продавайте.

– А как же ваши деньги?

– Вы отдадите их мне вместе с половиной прибыли. Как было условлено.

Лоу-младший сунул руку в правый карман пиджака, вытащил десятидолларовую бумажку, чмокнул ее и переложил в левый карман.

– Позвольте вас пригласить... Чего бы вы хотели? – спросил он.

– Вы мне поверили? – Для меня это была приятная неожиданность. Я привык к тому, что мне уже давно никто не верил: ни полицейские, ни женщины, ни инспектора по делам иммигрантов.

– Не в этом суть, – весело пояснил Лоу-младший. – Просто мы с братом поспорили: если вы вернете скульптуру потому, что она подделка, он выигрывает пять долларов, а если вы ее вернете, невзирая на то, что она настоящая, – я выигрываю десять.

– Видимо, у вас в семье вам принадлежит роль оптимиста.

– Я присяжный оптимист, а мой брат – присяжный пессимист. Так мы и тянем лямку в эти трудные времена. Оба эти качества в одном лице нынче несовместимы. Как вы относитесь к черному кофе?

– Вы – венец?

– Венец – по происхождению, американец – по подданству. А вы?

– Я – венец по убеждению и человек без подданства.

– Отлично. Зайдем напротив к Эмме и выпьем чашечку черного кофе. В отношении кофе у американцев – спартанское воспитание. Они пьют его только на похоронах или заваривают с утра на весь день. Американец может часами держать кофейник на плите, чтобы он не остыл, и ему даже в голову не придет заварить свежий кофе. Эмма себе такое не позволит. Она – чешка.

Мы перешли через шумную улицу. Поливальная машина изрыгала во все стороны струи воды. Лиловый пикап, развозящий детские пеленки, чуть не переехал нас. В последнюю секунду Лоу сделал грациозный прыжок и тем спас себе жизнь. Тут я увидел, что он ходит в лакированных ботинках.

– Вы с братом не однолетки? – спросил я.

– Близнецы. Но для удобства покупателей один из нас зовется «старший брат», другой – «младший». Брат на три часа старше меня. И он родился под знаком Близнецов. А я под знаком Рака.

Неделю спустя из служебной поездки вернулся владелец фирмы «Лу и К°», эксперт по китайскому искусству. Он никак не мог взять в толк, почему музей счел скульптуру подделкой.

– Это не шедевр, – разъяснил он. – Но, без сомнения, бронза эпохи Чжоу, позднего Чжоу, вернее, переходного периода от Чжоу к Хань.

– А какова ее цена? – спросил Лоу-старший.

– На аукционе она потянет долларов четыреста – пятьсот. Может, больше. Но ненамного. Китайская бронза идет нынче по дешевке.

– Почему?

– Да потому, что нынче все идет по дешевке. Война. И не так уж много людей коллекционирует китайскую бронзу. Могу купить ее у вас за триста долларов.

Лоу покачал головой.

– По-моему, я должен сперва предложить ее музею.

– С какой стати? – удивился я. – И потом – половина денег ведь моя. А вы хотите отдать скульптуру за те же жалкие пятнадцать долларов, какие, наверное, заплатили за нее.

– У вас есть расписка?

Я с удивлением уставился на него. Он поднял руку.

– Секунду! Не кричите. Пусть это будет для вас хорошим уроком. Впредь требуйте на все расписки. В свое время я на этом здорово погорел.

Я продолжал смотреть на него в упор.

– Пойду в музей и скажу, что уже почти продал эту скульптуру. Так ведь и есть на самом деле. Но я все равно предложу ее музею, потому что Нью-Йорк – это большая деревня. Во всяком случае, для антикваров. Через несколько недель все всё узнают. А музей нам еще понадобится. Вот в чем дело. Вашу долю я у них потребую.

– Сколько это будет?

– Сто долларов.

– А сколько получите вы?

– Половину того, что заплатят сверх. Согласны?

– Для вас вся эта история – милая шутка, – сказал я. – А я рискнул ради нее почти половиной состояния.

Лоу-старший засмеялся. Во рту у него было много золота.

– Кроме того, вы до всего дознались. Теперь и я догадался, как произошла ошибка. Они взяли в музей нового молодого эксперта. И молодой человек решил показать, что его предшественник ни черта не смыслил и приобретал мусор. Могу сделать вам одно предложение: у нас в подвале масса старых вещей, в которых мы не очень-то разбираемся. Человек не может знать все на свете. Не хотите ли ознакомиться с нашими сокровищами? Десять долларов в день. Ну, а если повезет – поощрительные премии.

– Компенсация за китайскую бронзу?

– Только отчасти. Но, конечно, работа временная. Мы с братом вполне справляемся со своими делами. По рукам?

– По рукам, – сказал я и взглянул через стекло витрины на улицу, где мчался поток машин.

Иногда даже страх приносит пользу, подумал я спокойно. Главное – расслабиться. Когда держишь себя в кулаке, обязательно случится несчастье. Жизнь – как мяч, думал я. Она всегда сохраняет равновесие.

Пятьдесят миллионов мертвецов, – сказал Лоу-старший. – Сто. Человечество пошло вперед только в одном отношении: оно научилось массовым убийствам. – В ярости он откусил кончик сигары. – Понимаете?

– Нигде человеческая жизнь не дешева так, как в Германии, – сказал я. – Эсэсовцы высчитали, что один еврей, даже работоспособный и молодой, стоит всего тысячу шестьсот двадцать марок. За шесть марок в день его выдают напрокат немецким промышленникам, использующим рабский труд. Питание в лагере обходится в шестьдесят пфеннигов в день. Еще десять пфеннигов кладут на амортизацию носильных вещей. Средняя продолжительность жизни – девять месяцев. Итого, считая прибыль, тысяча четыреста марок. Добавим к этому рациональное использование трупа: золотые коронки, одежду, ценности, деньги, привезенные с собой, и, наконец, волосы. За вычетом стоимости сожжения в сумме двух марок, чистая прибыль составляет около тысячи шестисот двадцати марок. Из этого следует вычестить еще женщин и детей, не имеющих реальной ценности. Их умерщвление в газовых камерах и сожжение обходится на круг в шесть марок. Сюда же надо приплюсовать стариков, больных и так далее. Таким образом, в среднем, если округлить сумму, доход все равно составляет не менее тысячи двухсот марок.

Лоу побледнел как полотно.

– Это правда?

– Так было подсчитано. Официальными немецкими ведомствами. Но до известной степени эта цифра может колебаться. Сложность вовсе не в умерщвлении людей. Как ни странно, самое сложное – уничтожение трупов. Для того чтобы труп сгорел, требуется определенное время. Закапывать в землю тоже не так-то просто, если речь идет о десятках тысяч мертвецов и если могильщики славятся своей добросовестностью. Не хватает крематориев. Да и по ночам они не могут работать с полной нагрузкой. Из-за вражеских самолетов. Бедным нацистам тяжело приходится. Они ведь хотели только мира, ничего больше.

– Что?

– Вот именно. Если бы весь свет согласился плясать под дудку Гитлера, войны не было бы.

– Остряк! – проворчал Лоу. – Остряк паршивый. Здесь не до острот! – Он понурил свою рыжую голову. – Как это может быть? Вы что-нибудь понимаете?

– Приказ сам по себе почти всегда бескровен. С этого все начинается. Тот, кто сидит за письменным столом, не должен хвататься за топор. – Я с сожалением взглянул на собеседника. – А людей, выполняющих приказы, всегда можно найти, особенно в нацистской Германии.

– Даже кровавые приказы?

– Кровавые тем более. Ведь приказ освобождает от ответственности. Можно, стало быть, дать волю инстинктам.

Лоу провел рукой по волосам.

– И вы через все это прошли?

– Увы, – сказал я. – Хотелось бы мне, чтобы это было не так.

– А вот сейчас мирный день, и мы с вами стоим в антикварной лавке на Третьей авеню, – сказал он. – Как же это, по-вашему, называется?

– Только не война.

– Я не об этом говорю. На земле творится бог знает что, а люди спокойно живут и делают вид, будто все в порядке.

– Люди не живут спокойно. Идет война. Для меня она, правда, странная, нереальная. Реальная война – это та, что происходит у тебя на родине. Все остальное нереально.

– Но людей убивают.

– У человеческого воображения плохо со счетом. Собственно, оно считает только до одного. То есть до того, кто находится рядом с тобой.

Колокольчик на двери лавки задрезжал. Женщина в красном хотела купить персидский кубок. Ее интересовало, можно ли использовать кубок в качестве пепельницы. Я незаметно спустился в подвал, который тянулся и под проезжей частью улицы. Разговоры эти я просто ненавидел. Мне они казались и наивными, и бессмысленными. Такие разговоры вели люди, которые не видели войны и думали, что, немного поволновавшись, они уже кое-что сделали. Это были разговоры людей, не знавших опасности...

В подвале было прохладно, как в комфортабельном бомбоубежище. В бомбоубежище коллекционера. Сверху приглушенно, словно гул самолетов, доносился шорох легковых машин и грохот грузовиков. А на стенах висели картины... Казалось, прошлое беззвучно упрекало нас.

В гостиницу я вернулся поздно вечером. Лоу-старший в порыве великодушия дал мне пятьдесят долларов задатка. Вскоре он, впрочем, пожалел об этом, и я это заметил. Но из-за серьезности беседы, которую мы до того вели, не решился взять деньги обратно. Неожиданная выгода для меня.

Меликова в гостинице не оказалось. Зато появился Лахман. Он, как всегда, был в волнении и весь потный.

– Все в порядке? – спросил я его.

– С чем?

– Со святой водой из Лурда?

– С лурдской водой? Ты хочешь сказать – с иорданской? Что значит: все в порядке? Это не так просто. Но мои шансы растут. Хотя эта женщина буквально сводит меня с ума. Вот уже вечность, как я нахожусь между Сциллой и Харибдой. Утомительная штука.

– Сцилла и Харибда?

– Тебе же известно это выражение. Из греческой мифологии. Ловушка для моряков между двумя утесами. Мне надо лавировать, лавировать. Иначе я пропал. – Он взглянул на меня глазами загнанного зверя. – Если эта женщина не станет скоро моей, я превращусь в импотента. Ты ведь знаешь, какой у меня тяжелый комплекс. Меня опять преследуют кошмары. Я просыпаюсь весь в поту, просыпаюсь от собственного крика. Ты ведь слышал: эти бандиты хотели меня кастрировать. Ножницами, не ножом. И гоготали как безумные. Если я не пересплю с этой женщиной в ближайшие дни, мне будет сниться, что они своего добились. Ужасные сны! Все как наяву! Даже вскочив с постели, я слышу их гогот.

– Спи с проституткой.

– Не могу. При всем желании. И с нормальной женщиной тоже не могу. Тут они своего добились.

Лахман прислушался.

– Вот она идет. Мы поужинаем в «Блу риббон». Она любит говяжье жаркое. Пойдем с нами! Может, ты на нее повлияешь. Ты ведь у нас знаменитый говорун.

С лестницы донесся звучный голос.

– Нет времени, – сказал я. – А ты не подумал, что и у женщины может быть комплекс неполноценности из-за ампутированной ноги? Как у тебя из-за шрамов.

– Ты считаешь? – Лахман уже встал. – Ты так считаешь?

Конечно, я сболтнул первое, что пришло на ум. Хотел его утешить. Но увидев, как он разволновался, проклял свой длинный язык. Ведь от Меликова я знал, что дама жила с мексиканцем. Но объясняться было поздно. Да и Лахман меня не слушал. Он захромал к двери.

Я поднялся к себе в номер, но не стал зажигать свет. Несколько окон напротив были освещены. В одном я увидел мужчину, который надевал женское белье. Этого типа я встречал в гостинице уже не раз. Полиция о нем знала, он был зарегистрирован как неизлечимый. Секунду

я смотрел на мужчину в окне. Потом у меня стало муторно на душе. Что ни говори, неприятное зрелище! Я решил спуститься вниз и дожидаться там Меликова.

IV

Лахман дал мне адрес Гарри Кана. О легендарных подвигах Кана я слышал еще во Франции. В качестве испанского консула он появился в Провансе, когда немецкая оккупация этого края формально окончилась и власть перешла к созданному Гитлером правительству в Виши, которое с каждым днем все снисходительнее взирало на бесчинства немцев.

И вот в один прекрасный день Кан возник в Провансе под именем Рауля Тенье с испанским дипломатическим паспортом в кармане. Никто не знал, откуда у него этот паспорт. По одной версии, документы у него были французские, с испанским штампом, удостоверяющим, что Кан – вице-консул в Бордо. Другие, наоборот, утверждали, будто видели паспорт Кана и будто этот паспорт испанский. Сам Кан загадочно молчал, зато он действовал. У него была машина с дипломатическим флажком на радиаторе, элегантные костюмы и вдобавок хладнокровие, доходившее до наглости. Он держал себя настолько блестяще, что даже сами эмигранты уверовали, будто все у него в порядке. Хотя в действительности все было, видимо, не в порядке.

Кан свободно ездил по стране. Самое пикантное заключалось в том, что он путешествовал как представитель другого фашистского диктатора, а тот не имел об этом ни малейшего понятия. Скоро Кан стал сказочным героем, творившим добрые дела. Дипломатический флажок на машине отчасти защищал Кана. А когда его задерживали эсэсовские патрули или немецкие солдаты, он тут же кидался в атаку, и немцы быстро шли на попятную, боясь получить взбучку от начальства. Кан хорошо усвоил, что нацистам импонирует грубость, и за словом в карман не лез.

При любой фашистской диктатуре страх и неуверенность царят даже в рядах самих фашистов, особенно если они люди подневольные, так как понятие права становится чисто субъективным и, следовательно, может быть обращено против любого бесправного индивидуума, коль скоро его поступки перестают соответствовать меняющимся установкам. Кан играл на трусости фашистов, ибо знал, что трусость в соединении с жестокостью как раз и являются логическим следствием любой тирании.

Он был связан с движением Сопrotивления. По всей видимости, именно подпольщики снабдили его деньгами и машиной, а главное, бензином. Бензина Кану всегда хватало, хотя в то время он был чрезвычайно дефицитен. Кан развозил листовки и первые подпольные газеты – двухполосные листки небольшого формата. Мне был известен такой случай: однажды немецкий патруль остановил Кана, чтобы обыскать его машину, которая как на грех была набита нелегальной литературой. Но Кан поднял такой скандал, что немцы спешно ретировались: можно было подумать, что они схватили за хвост гадюку. Однако на этом Кан не успокоился: он погнался за солдатами и пожаловался на них в ближайшей комендатуре, предварительно избавившись, правда, от опасной литературы. Кан добился того, что немецкий офицер извинился перед ним за бестолковость своих подчиненных. Утихомирившись, Кан покинул комендатуру, попрощался, как положено фалангисту, и в ответ услышал бодрое «Хайль Гитлер!». А немного погодя он обнаружил, что в машине у него все еще лежат две пачки листовок.

Иногда у Кана появлялись незаполненные испанские паспорта. Благодаря им он спас жизнь многим эмигрантам: они смогли перейти границу и скрыться в Пиренеях. Это были люди, которых разыскивало гестапо. Кану удавалось долгое время прятать своих подопечных во французских монастырях, а потом, при первой возможности, эвакуировать. Я сам знаю два случая, когда Кан сумел предотвратить насильственное возвращение эмигрантов в Германию. В первом случае он внушил немецкому фельдфебелю, что Испания особо заинтересована в данном лице: этот человек-де свободно владеет языками, и поэтому его хотят использовать в

качестве испанского резидента в Англии. Во втором случае Кан действовал с помощью коньяка и рома, а потом стал угрожать охране, что донесет на нее, обвинив во взяточничестве.

Когда Кан исчез с горизонта, в среде эмигрантов распространились самые мрачные слухи, все каркали наперебой. Ведь каждый эмигрант понимал, что эта война в одиночку может кончиться для Кана только гибелью. День ото дня он становился все бесстрашней и бесстрашней. Казалось, он бросал вызов судьбе. А потом вдруг наступила тишина. Я считал, что нацисты уже давно забили Кана насмерть в концлагере или подвесили его на крюке – подобно тому, как мясники подвешивают освежеванные туши, – пока не услышал от Лахмана, что Кану тоже удалось бежать.

Я нашел его в магазине, где по радио транслировали речь президента Рузвельта. Сквозь раскрытые двери на улицу доносился оглушительный шум. Перед витриной столпились люди и слушали речь.

Я попытался заговорить с Каном. Это было невозможно – пришлось бы перекричать радио. Мы могли объясняться только знаками. Он с сожалением пожал плечами, указал пальцем на репродуктор и на народ за стеклами витрины и улыбнулся. Я понял: для Кана было важно, чтобы люди слушали Рузвельта, да и сам он не желал пропускать из-за меня эту речь. Я сел у витрины, вытащил сигарету и начал слушать.

Кан был хрупкий темноволосый человек с большими черными горящими глазами. Он был молод, не старше тридцати. Глядя на него, никто не сказал бы, что это смельчак, долгие годы игравший с огнем. Скорее, он походил на поэта: настолько задумчивым и в то же время открытым было это лицо. Рембо и Вийон, впрочем, тоже были поэтами. А то, что совершал Кан, могло прийти в голову только поэту.

Громкоговоритель внезапно умолк.

– Извините, – сказал Кан, – я хотел дослушать речь до конца. Вы видели людей на улице? Часть из них с радостью прикончила бы президента – у него много врагов. Они утверждают, что Рузвельт вовлек Америку в войну и что он несет ответственность за американские потери.

– В Европе?

– Не только в Европе, но и на Тихом океане, там, впрочем, японцы сняли с него ответственность. – Кан взглянул на меня внимательней. – По-моему, мы уже где-то встречались? Может, во Франции?

Я рассказал ему о моих бедах.

– Когда вам надо убираться? – спросил он.

– Через две недели.

– Куда?

– Понятия не имею.

– В Мексику, – сказал он. – Или в Канаду. В Мексику проще. Тамошнее правительство более дружелюбно, оно принимало даже испанских *refugies* Надо запросить посольство. Какие у вас документы?

Я ответил. Он улыбнулся, и улыбка преобразила его лицо.

– Все то же самое, – пробормотал он. – Хотите сохранить этот паспорт?

– Иначе нельзя. Он – мой единственный документ. Если я признаюсь, что паспорт чужой, меня посадят в тюрьму.

– Может, и не посадят. Но пользы это вам не принесет. Что вы делаете сегодня вечером? Заняты?

– Нет, конечно.

– Зайдите за мной часов в девять. Нам понадобится помощь. И здесь есть такой дом, где мы ее получим.

Круглое румяное лицо с круглыми глазами и всклокоченной копной волос добродушно сияло, как полная луна.

– Роберт! – воскликнула Бетти Штейн. – Боже мой, откуда вы взялись? И с каких пор вы здесь? Почему я ничего о вас не слышала? Неужели не могли сообщить о себе! Ну конечно, у вас дела поважнее. Где уж тут вспомнить обо мне? Типично для...

– Вы знакомы? – спросил Кан.

Невозможно было представить себе человека, участвовавшего в этом переселении народов, который не знал бы Бетти Штейн. Она была покровительницей эмигрантов – так же, как раньше в Берлине была покровительницей актеров, художников и писателей, еще не выбившихся в люди. Любвеобильное сердце этой женщины было открыто для всех, кто в ней нуждался. Ее дружелюбие проявлялось столь бурно, что порой граничило с добродушной тиранией: либо она принимала тебя целиком, либо вы становились врагами.

– Конечно, знакомы, – ответил я Кану. – Правда, мы не виделись несколько лет. И вот уже с порога, не успев войти, как она меня упрекает. Это у нее в крови. Славянская кровь.

– Да, я родилась в Бреславле, – заявила Бетти Штейн, – и все еще горжусь этим.

– Бывают же такие доисторические предрассудки, – сказал Кан невозмутимо. – Хорошо, что вы знакомы. Нашему общему другу Россу нужны помощь и совет.

– Россу?

– Вот именно, Бетти, Россу, – сказал я.

– Он умер?

– Да, Бетти. И я его наследник.

– Понимаю.

Я объяснил ей ситуацию. Она тут же с жаром ухватилась за это дело и принялась обсуждать различные варианты с Каном, который как герой Сопrotивления пользовался здесь большим уважением. А я тем временем огляделся. Комната была очень большая, и все здесь соответствовало характеру Бетти. На стенах висели прикрепленные кнопками фотографии – портреты с восторженными посвящениями. Я начал рассматривать подписи: многие из этих людей уже погибли. Шестеро так и не покинули Германию, один вернулся.

– Почему фотография Форстера у вас в траурной рамке? – спросил я. – Он ведь жив.

– Потому что Форстер опять в Германии. – Бетти повернулась ко мне. – Знаете, почему он уехал обратно?

– Потому что он не еврей и стосковался по родине, – сказал Кан. – И не знал английского.

– Вовсе не потому. А потому, что в Америке не умеют делать его любимый салат, – торжествующе сообщила Бетти. – И на него напала тоска.

В комнате раздался приглушенный смех. Эмигрантские анекдоты были мне хорошо знакомы – смесь иронии и отчаяния.

Существовала также целая серия анекдотов о Геринге, Геббельсе и Гитлере.

– Почему же вы тогда не сняли его портрет? – спросил я.

– Потому что, несмотря на все, я люблю Форстера, и потому что он большой актер.

Кан засмеялся.

– Бетти, как всегда, объективна, – сказал он. – И в тот день, когда все это кончится, она первая скажет о наших бывших друзьях, которые за это время успели написать в Германии антисемитские книжонки и получить чин обер-штурмфюрера, что они, мол, делали это, дабы предотвратить самое худшее! – Он потрепал ее по мясистому загривку. – Разве я не прав, Бетти?

– Если другие – свиньи, то это не значит, что и мы должны вести себя по-свински, – возразила Бетти несколько раздраженно.

– Именно на такие рассуждения они и рассчитывают, – сказал Кан невозмутимо. – А в конце войны будут твердо рассчитывать на то, что американцы, дав последний залп, пошлют в

Германию составы с салом, маслом и мясом для бедных немцев, которые всего-навсего хотели их уничтожить.

– А если немцы выиграют эту войну? Как, по-вашему, они поведут себя? Тоже будут раздавать сало? – спросил кто-то и закашлялся.

Я не ответил. Разговоры эти мне изрядно надоели. Лучше уж рассматривать фотографии.

– Поминальник Бетти, – произнесла хрупкая, очень бледная женщина, которая сидела на скамейке под фотографиями. – Это портрет Хаштенеера.

Я вспомнил Хаштенеера. Французы засадили его в лагерь для интернированных вместе с другими эмигрантами, которых сумели схватить. Он был писатель и знал, что, если попадет в руки немцев, его песенка спета. Знал он также, что лагеря для интернированных прочесывают гестаповцы. Когда немцы были в нескольких часах ходу от лагеря, Хаштенеер покончил с собой.

– Типично французское равнодушие, – сказал Кан с горечью. – Они не желают тебе зла, но ты почему-то по их милости подыхаешь.

Я вспомнил, что Кан заставил коменданта одного из французских лагерей отпустить нескольких немецких беженцев. Он так наседал на него, что комендант, очень долго прикрывавший свою нерешительность болтовней об офицерской чести, наконец уступил. Ночью он освободил эмигрантов, которые иначе пропали бы. Это было тем более трудно, что в лагере оказалось несколько нацистов. Сперва Кан убедил коменданта отпустить нацистов, уверяя, что в противном случае гестаповцы после осмотра лагеря арестуют его. А потом он использовал освобождение нацистов как средство давления на коменданта. Грозил, что пожалуется на него правительству Виши. Этот свой маневр Кан назвал «моральное поэтапное вымогательство». Маневр подействовал.

– Как вам удалось выбраться из Франции? – спросил я Кана.

– Тем путем, какой казался тогда вполне нормальным. Самым фантастическим. Гестаповое о чем начало догадываться. Мое нахальство, равно как и сомнительный титул вице-консула, перестали помогать. В один прекрасный день меня арестовали.

К счастью, как раз в это время в комендатуре появились два нациста, которые по моему распоряжению были отпущены. Они собирались в Германию. Нацисты, конечно, поклялись всеми святыми, что я друг немцев. Я им еще помог... Напустил на себя грозный вид, замолчал, а потом как бы невзначай обронил несколько имен, и они не сделали того, чего я боялся: не передали меня вышестоящей инстанции. Их обуял страх. А вдруг из-за этого недоразумения начальство на них наорет? Под конец они были мне даже благодарны за то, что я пообещал забыть об этом происшествии, и отпустили меня с миром. Я бежал далеко, до самого Лиссабона. Человек должен знать, когда рисковать уже больше нельзя. Тут появляется особое чувство, похожее на чувство, какое бывает при первом легком приступе *angina pectoris*⁷. У тебя уже и прежде были неприятные ощущения, но это чувство иное, к чему надо прислушаться. Ведь следующий приступ может стать смертельным.

Теперь мы сидели в темноте.

– Это ваш магазин?

– Нет. Я здесь служащий. Из меня вышел хороший продавец.

– Охотно верю.

На улице была ночь, ночь большого города – горели огни, шли люди. Казалось, незримая витрина защищает нас не только от шума, – мы были словно в пещере.

– В такой тьме даже сигара не доставляет удовольствия, – сказал Кан. – Вот было бы великолепно, если бы во тьме человек не чувствовал боли. Правда?

⁷ Грудная жаба (*лат.*).

– Наоборот, боль становится сильнее, потому что человек боится. Кого только?

– Себя самого. Но все это выдумки. Бояться надо не себя, а других людей.

– Это тоже выдумки.

– Нет, – сказал Кан спокойно. – Так считалось до восемнадцатого года. С тридцать третьего известно, что это не так. Культура – тонкий пласт, ее может смыть обыкновенный дождик. Этому научил нас немецкий народ – народ поэтов и мыслителей. Он считался высокоцивилизованным. И сумел перещеголять Аттилу и Чингисхана, с упоением совершив мгновенный поворот к варварству.

– Можно, я зажгу свет? – спросил я.

– Конечно.

Безжалостный электрический свет залил помещение; мигая, мы поглядели друг на друга.

– Просто странно, куда только человека не заносит судьба, – сказал Кан, вынимая из кармана расческу и приводя в порядок волосы. – Но главное, что она все же заносит его куда-то, где можно начать сначала. Только не ждать. Некоторые, – он повел рукой, – некоторые просто ждут. Чего? Того, что время повернет вспять им в угоду? Бедняги! А вы что делаете? Уже нашли себе какое-нибудь занятие?

– Разбираю кладовые в антикварной лавке.

– Где? На Второй авеню?

– На Третьей.

– Один черт. Никаких перспектив. Постарайтесь начать собственное дело. Продавайте что угодно, хоть булыжник. Или шпильки для волос. Я сам кое-чем приторговываю в свободное время. Самостоятельно.

– Хотите стать американцем?

– Я хотел стать австрийцем, потом чехом. Но немцы, увы, захватили обе эти страны. Тогда я решил стать французом – результат тот же. Хотелось бы мне знать, не оккупируют ли немцы и Америку?

– А мне хотелось бы знать другое: через какую границу меня выдворят дней через десять? Кан покачал головой.

– Это совсем не обязательно. Бетти достанет вам рекомендации трех известных эмигрантов. Фейхтвангер тоже не отказал бы вам, но его рекомендации здесь не очень котируются. Он слишком левый. Правда, Америка в союзе с Россией, но не настолько, чтобы «поощрять» коммунизм. Генрих и Томас Манны ценятся высоко, но еще лучше, если за вас поручатся коренные американцы. Один издатель хочет опубликовать мои воспоминания; конечно, я никогда не напишу их. Но говорить ему это пока преждевременно – узнает года через два. Мой издатель вообще интересуется эмигрантами. Наверное, чует, что на них можно сделать бизнес. Выгода в сочетании с идеализмом – дело беспроектное. Завтра я ему позвоню. Скажу, что вы один из тех немцев, которых я вызволил из лагерей в Гуре.

– Я был в Гуре, – сказал я.

– В самом деле? Бежали?

Я кивнул:

– Подкупил охрану.

Кан оживился.

– Вот здорово! Мы найдем нескольких свидетелей. Бетти знает уйму народа. А вы не помните кого-нибудь, кто оттуда выбрался бы в Америку?

– Господин Кан, – сказал я, – Америка была для нас землей обетованной. В Гуре мы не могли и мечтать о ней. Кроме того, простите, я не захватил с собой никаких документов.

– Ничего. Раздобудем что-нибудь. Для вас сейчас самое главное – продлить пребывание здесь. Хотя бы на несколько недель. Или месяцев. Для этого потребуется адвокат – ведь времени осталось в обрез. В Нью-Йорке достаточно эмигрантов, которые имели в прошлом адво-

катскую практику. Бетти это устроила бы в два счета. Но времени так мало, что лучше найти американского адвоката. Бетти и в этом нам поможет. А деньги у вас есть?

– Дней на десять хватит.

– То есть это деньги на жизнь. А сумму, которую потребует адвокат, придется собрать. Думаю, она не будет такой уж большой. – Кан улыбнулся. – Пока что эмигранты еще держатся вместе. Беда сплачивает людей лучше, чем удача.

Я взглянул на Кана. Его бледное, изможденное лицо до странности потемнело.

– У вас передо мной есть некоторое преимущество, – сказал я. – Вы еврей. И согласно подлой доктрине тех людишек, не принадлежите к их нации. Я не удостоился такой чести. Я к ним принадлежу.

Кан повернулся ко мне лицом.

– Принадлежите к их нации? – В его голосе слышалась ирония. – Вы в этом уверены?

– А вы нет?

Кан молча разглядывал меня. И мне стало не по себе.

– Я болтаю чушь! – сказал я наконец, чтобы прервать молчание. – Надеюсь, все это не имеет к нам отношения.

Кан все еще не сводил с меня глаз.

– Мой народ, – начал он, но тут же прервал сам себя: – Я тоже, кажется, горожу чушь. Пошли! Давайте разопьем бутылочку!

Пить я не хотел, но и отказаться не мог. Кан вел себя вполне спокойно и уравновешенно. Однако так же спокойно держался в Париже Иозеф Бер, когда я не согласился пить с ним ночь напролет из-за безмерной усталости. А наутро я обнаружил, что он повесился в своем нищенском номере.

Люди, не имевшие корней, были чрезвычайно нестойки – в их жизни случай играл решающую роль. Если бы в тот вечер в Бразилии, когда Стефан Цвейг и его жена покончили жизнь самоубийством, они могли бы излить кому-нибудь душу, хотя бы по телефону, несчастья, возможно, не произошло бы. Но Цвейг оказался на чужбине среди чужих людей. И совершил вдобавок роковую ошибку – написал воспоминания; а ему надо было бежать от них, как от чумы. Воспоминания захлестнули его. Потому-то и я так страшился воспоминаний. Да, я знал, что должен действовать, хотел действовать. И сознание это давило на меня, как тяжелый камень. Но прежде надо, чтобы кончилась война и чтобы я мог снова поселиться в Европе.

Я вернулся в гостиницу, и она показалась мне еще более унылой, чем прежде. Усевшись в старомодном холле, я решил ждать Меликова. Вокруг как будто никого не было, но внезапно я услышал всхлипыванья. В углу, возле кадки с пальмой, сидела женщина. Я с трудом разглядел Наташу Петрову.

Наверное, она тоже ждала Меликова. Ее плач действовал мне на нервы. К тому же у меня и так была тяжелая голова после выпивки. Помедлив секунду, я подошел к ней.

– Могу ли я вам чем-нибудь помочь?

Она не ответила.

– Что-нибудь случилось? – спросил я.

Наташа покачала головой:

– Что, собственно, должно случиться?

– Но вы ведь плачете.

– Что, собственно, должно случиться?

Я долго смотрел на нее.

– Есть же причина. Иначе вы не плакали бы.

– Вы уверены? – спросила она вдруг сердито.

Я бы с удовольствием ушел, но в голове у меня был полный сумбур.

– Обычно причина все же существует, – сказал я после краткой паузы.

– Неужели? Разве нельзя плакать без причины? Неужели все имеет свои причины?

Я бы не удивился, если бы Наташа заявила, что только тупые немцы имеют на все причину. Пожалуй, даже ждал этих слов.

– С вами так не случается? – спросила она вместо этого.

– Я могу себе это представить.

– С вами так не случается? – повторила она.

Можно было объяснить ей, что у меня, к сожалению, всегда оказывалось достаточно причин для слез. Представление о том, что можно плакать без всякой причины – просто от мировой скорби или от сердечной тоски, – могло возникнуть лишь в другом, более счастливом столетии.

– Мне было не до слез.

– Ну конечно! Где уж вам плакать!

Начинается, подумал я. Противник идет в атаку.

– Извините, – пробормотал я и собрался уходить. Не хватало мне только отражать наскоки плачущей женщины!

– Знаю, – сказала она с горечью, – идет война. И в такое время смешно плакать из-за пустяков. Но я реву – и все тут. Несмотря на то, что где-то далеко от нас разыгрываются десятки сражений.

Я остановился.

– Мне это понятно. Война здесь ни при чем. Пусть где-то убивают сотни тысяч людей... Если ты порежешь себе палец, боль от этого не утихнет.

Боже, какой вздор я несу, подумал я. Надо оставить эту истеричку в покое. Пусть себе рыдает на здоровье. Почему я не уйду? Но я продолжал стоять, будто она была последним человеком на этой земле. И вдруг я все понял: я боялся остаться один.

– Бесполезно, – повторяла она. – Решительно все бесполезно. Все, что мы делаем! Мы должны умереть. Никому не избежать смерти.

О Господи! Вот до чего договорилась!

– Да, но тут существует много разных нюансов. Один из них состоит в том, как долго человеку удается избежать смерти.

Наташа не отвечала.

– Не хотите ли выпить чего-нибудь? – спросил я.

– Не выношу эту кока-колу. Дурацкий напиток!

– А как насчет водки?

Она подняла голову.

– Насчет водки? Водки здесь не достанешь, раз нет Меликова. Куда он, кстати, делся? Почему его до сих пор нет?

– Не знаю. Но у меня в номере стоит початая бутылка водки. Можем распить ее.

– Разумное предложение, – сказала Наташа Петрова. И прибавила: – Почему вы не внесли его раньше?

Водки было на доньшке. Я взял бутылку и с неохотой пошел обратно. Может, Меликов скоро явится? Тогда я буду играть с ним в шахматы до тех пор, пока не приду в равновесие. От Наташи Петровой я не ждал ничего путного.

Я подошел к столу в холле и почти не узнал ее. Слез как не бывало, она напудрилась и даже встретила меня улыбкой.

– Почему, собственно, вы пьете водку? Ведь у вас на родине ее не пьют.

– Правильно, – сказал я. – В Германии пьют пиво и шнапс, но я забыл свое отечество и не пью ни пива, ни шнапса. Насчет водки я, правда, тоже не большой мастак.

– Что же вы пьете?

Какой idiotский разговор, подумал я.

– Пью все, что придется. Во Франции пил вино, если было на что.

– Франция... – сказала Наташа Петрова. – Боже, что с ней сделали немцы!

– Я здесь ни при чем. В это время я сидел во французском лагере для интернированных.

– Разумеется! Как враг.

– До этого я сидел в немецком концлагере. Тоже как враг.

– Не понимаю.

– Я тоже, – ответил я со злостью. И подумал: сегодня какой-то злосчастный день. Я попал в заколдованный круг и никак не вырвусь из него. – Хотите еще рюмку? – спросил я. Решительно, нам не о чем было разговаривать.

– Спасибо. Пожалуй, больше не надо. Я уже до этого довольно много выпила.

Я молчал. И чувствовал себя ужасно. Вокруг люди – один я какой-то неприкаянный.

– Вы здесь живете? – спросила Наташа Петрова.

– Да. Временно.

– Здесь все живут временно. Но многие застревают на всю жизнь.

– Может быть. Вы тоже здесь жили?

– Да. Но потом переехала. И иногда думаю, лучше бы я никогда не уезжала отсюда. И лучше бы я никогда не приезжала в Нью-Йорк.

Я так устал, что у меня больше не было сил задавать ей вопросы. Кроме того, я знал слишком много судеб, выдающихся и банальных. Любопытство притупилось. И меня совершенно не интересовал человек, который сокрушался из-за того, что приехал в Нью-Йорк. Этот человек принадлежал к иному миру, миру теней.

– Мне пора, – сказала Наташа Петрова, вставая.

На секунду меня охватило нечто вроде паники.

– Разве вы не подождете Меликова? Он должен прийти с минуты на минуту.

– Сомневаюсь. Пришел Феликс, который его заменяет.

Теперь и я увидел маленького лысого человечка. Он стоял у дверей и курил.

– Спасибо за водку, – сказала Наташа. Она взглянула на меня своими серыми прозрачными глазами. Странно, иногда нужна самая малость, чтобы человеку помогло. Достаточно поговорить с первым встречным – и все в порядке.

Наташа кивнула мне и двинулась прочь. Она была еще выше ростом, чем я предполагал. Каблуки ее стучали о деревянный пол громко и энергично, словно затаптывали что-то. Звук ее торопливых шагов странно не соответствовал гибкой и тонкой фигуре, слегка покачивавшейся на ходу.

Я закупорил бутылку и подошел к стоявшему у дверей Феликсу – напарнику Меликова.

– Как живете, Феликс? – спросил я.

– Помаленьку, – ответил он не очень дружелюбно и взглянул на улицу. – Как мне еще жить?

Я вдруг почувствовал, что ужасно завидую ему. Стоит себе и спокойно покуривает. Огонек его сигареты стал для меня символом уюта и благополучия.

– Спокойной ночи, Феликс, – сказал я.

– Спокойной ночи. Может, вам что-нибудь нужно? Воды? Сигарет?

– Не надо. Спасибо, Феликс.

Я открыл свой номер, и на меня, подобно огромному валу, накатило прошлое. Казалось, оно поджидало моего прихода за дверью. Я бросился на кровать и вперил взгляд в серый четырехугольник окна. Теперь я был совершенно беспомощен. Я видел множество лиц и не видел иных знакомых лиц. Я беззвучно зывал о мести, понимая, что все тщетно; хотел кого-то задушить, но не знал кого. Мне оставалось только ждать. А потом я заметил, что ладони мои намокли от слез.

V

Адвокат заставил меня просидеть в приемной битый час. Я решил, что это нарочно: видно, так он обрабатывал клиентов, чтобы сделать их более податливыми. Но моя податливость была ему ни к чему. Я коротал время, наблюдая за двумя посетителями, сидевшими, как и я, в приемной. Один из них жевал резинку, другой пытался пригласить секретаршу адвоката на чашку кофе в обеденный перерыв. Секретарша только посмеивалась. И правильно делала! У этого типа была вставная челюсть, а на коротком толстом мизинце с обгрызанным ногтем сверкало бриллиантовое кольцо. Напротив стола секретарши между двумя цветными гравюрами, изображавшими уличные сценки в Нью-Йорке, висела окантованная табличка с одним словом – «Think!»⁸. Этот лапидарный призыв мыслить я замечал уже не раз. В коридоре гостиницы «Ройбен» он красовался в весьма неподходящем месте – перед туалетом.

Самое яркое проявление пруссачества, какое мне до сих пор довелось увидеть в Америке!

Адвокат был широкоплечий мужчина с широким, плоским лицом. Он носил очки в золотой оправе. Голос у него был неожиданно высоким. Он это знал и старался говорить на более низких нотах и чуть ли не шепотом.

– Вы эмигрант? – прошептал он, не отрывая взгляда от рекомендательного письма, написанного, видимо, Бетти.

– Да.

– Еврей, конечно.

Я молчал. Он поднял глаза.

– Нет, – сказал я удивленно. – А что?

– С немцами, которые хотят жить в Америке, я дела не имею.

– Почему, собственно?

– Неужели я должен вам это объяснять?

– Можете не объяснять. Объясните лучше, почему вы заставили меня прождать целый час?

– Госпожа Штейн неправильно меня информировала.

– Я хочу задать вам встречный вопрос: а вы кто?

– Я – американец, – сказал адвокат громче, чем раньше, и потому более высоким голосом. – И не собираюсь хлопотать за нациста.

Я расхохотался.

– Для вас каждый немец обязательно нацист?

Его голос снова стал громче и выше:

– Во всяком случае, в каждом немце сидит потенциальный нацист.

Я снова расхохотался.

– Что? – спросил адвокат фальцетом.

Я показал на табличку со словом «Think!». Такая табличка висела и в кабинете адвоката, только буквы были золотые.

– Скажем лучше так: в каждом немце и в каждом велосипедисте, – добавил я. – Вспомним старый анекдот, который рассказывали в девятнадцатом году в Германии. Когда кто-нибудь утверждал, будто евреи повинны в том, что Германия проиграла войну, собеседник говорил: «И велосипедисты тоже». А если его спрашивали: «Почему велосипедисты?» – он отвечал вопросом на вопрос: «А почему евреи?» Но это было в девятнадцатом. Тогда в Германии еще разрешалось думать, хотя это уже грозило неприятностями.

⁸ Думай (англ.).

Я ждал, что адвокат выгонит меня, но на его лице расплылась широкая улыбка, и оно стало еще шире.

– Недурственно, – сказал он довольно низким голосом. – Я не слышал этого анекдота.

– Анекдот с бородой, – сказал я. – Сейчас в Германии больше не шутят, сейчас там только стреляют.

Адвокат снова стал серьезным.

– У меня слабость к анекдотам, – сказал он. – Тем не менее я стою на своем.

– И я тоже.

– Чем вы докажете свою правоту?

Я встал. Дурацкое жонглирование словами мне надоело. Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет.

Но тут адвокат с широким лицом сказал:

– Найдется у вас тысяча долларов?

– Нет, – ответил я резко. – У меня не найдется и сотни.

Он дал мне дойти почти до самой двери и только тогда спросил:

– Чем же вы собираетесь платить?

– Мне хотят помочь друзья, но я готов снова попасть в лагерь для интернированных, лишь бы не просить у них такой суммы.

– Вы уже сидели в лагере?

– Да, – сказал я сердито. – И в Германии тоже, но там они называются иначе.

Я уже ждал разъяснений этого горе-умника насчет того, что в немецких концлагерях сидят-де и уголовники, и профессиональные преступники. Что было, кстати, верно. Вот когда я перестал бы сдерживаться. Но на сей раз я не угадал. За спиной адвоката что-то тихонько скрипнуло, а потом раздалось грустное «ку-ку, ку-ку». Кукушка прокуковала двенадцать раз. Это были часы из Шварцвальда. Таких я не слышал с детства.

– Какая прелесть! – воскликнул я иронически.

– Подарок жены, – сказал адвокат слегка смущенно. – Свадебный подарок.

Я с трудом удержался, чтобы не спросить, не сидит ли в этих часах потенциальный нацист. Мне показалось, что в кукушке я вдруг обрел неожиданного союзника. Адвокат почти ласково сказал:

– Я сделаю для вас все, что смогу. Позвоните мне послезавтра утром.

– А как же с гонораром?

– Насчет этого я переговорю с госпожой Штейн.

– Я предпочел бы знать заранее.

– Пятьсот долларов, – сказал он. – В рассрочку, если хотите.

– Думаете, вам удастся мне помочь?

– Продлить визу мы во всяком случае сумеем. Потом придется опять ходатайствовать.

– Спасибо, – сказал я. – Позвоню вам послезавтра... Ну и фокусник! – не удержался я, спускаясь в тесном лифте этого узкогрудого дома. Моя попутчица бросила на меня испепеляющий взгляд: она была в шляпке в виде ласточкиного гнезда, и когда кабина остановилась, со щек у нее посыпалась пудра. Я стоял, не глядя на даму, изобразив на лице полнейшее равнодушие. Мне уже говорили, что женщины в Америке чуть что зовут полицейского. «Think!» – было написано в лифте на дощечке красного дерева; дощечка висела над гневно покачивавшимися желтыми кудряшками дамы и над неподвижным гнездом с выводком ласточек.

В кабинах лифта я всегда начинаю нервничать. В них нет запасного выхода, и убежать из кабины трудно.

В молодости я любил одиночество. Но годы преследований и скитаний приучили меня бояться его. И не только потому, что оно ведет к размышлениям и тем самым нагоняет тоску.

Одиночество опасно! Человек, который постоянно скрывается, предпочитает быть на людях. Толпа делает его безмянным. Он перестает привлекать к себе внимание.

Я вышел на улицу. И мне показалось, что тысячи безмянных друзей приняли меня в свой круг. Улица была распахнута настежь, и на каждом шагу я различал входы и выходы, закоулки и проулки. А главное, на улице была толпа, в которой можно было затеряться.

– Сами того не желая, мы волей-неволей переняли мышление и логику преступников, – сказал я, обедая с Каном в дешевом кафе. – Вы, может быть, меньше, чем другие. Ведь вы наступали, отвечали ударом на удар. А мы только и делали, что подставляли спину. Как вы считаете, это пройдет?

– Страх перед полицией – навряд ли. Он вполне закономерен. Все порядочные люди боятся полиции. Страх этот коренится в недостатках нашего общественного строя. А другие страхи... Это зависит от нас самих. И скорее всего, страхи пройдут именно здесь. Америка создана эмигрантами. И каждый год тысячи людей получают здесь гражданство. – Кан засмеялся. – Ну и нравы в Америке! Достаточно ответить утвердительно на два вопроса, чтобы прослыть хорошим парнем... «Любите ли вы Америку?» – «Да, это самая замечательная страна на свете». – «Хотите ли вы стать американцем?» – «Да, конечно, хочу!» И вот вас уже хлопают по плечу и объявляют своим в доску.

Я вспомнил адвоката, от которого только что вернулся.

– Не скажите. И в Америке бывают свои кукушки!

– Что? – удивился Кан.

Я рассказал ему о заключительном эпизоде моей встречи с адвокатом.

– Этот тип обращался со мной как с прокаженным, – сказал я.

Кан не на шутку развеселился.

– Ай да кукушка! – смеялся он. – Но ведь адвокат потребовал с вас всего пятьсот долларов. Таким способом он принес свои извинения! А как вам нравится пицца?

– Очень нравится. Не хуже, чем в Италии.

– Лучше, чем в Италии, Нью-Йорк – итальянский город. Кроме того, он испанский город, еврейский, венгерский, китайский, африканский и исто немецкий.

– Немецкий?

– Вот именно! Попробуйте сходить на Восемьдесят шестую улицу; там полным-полно пивных погребков «Гейдельберг», закусовых «Гинденбург», нацистов, немецко-американских клубов, гимнастических обществ и певческих ферейнов, исполняющих кантату «Ура герою в лавровом венце». И в каждом кафе есть столики для постоянных посетителей с черно-бело-красными флажками. Не подумайте худого! Не с черно-красно-золотыми, а именно с черно-бело-красными⁹.

– Без свастики?

– Свастику на всеобщее обозрение не выставляют. В остальном американские немцы часто хуже тамошних. Живя вдали от Германии, они видят обожаемую родину-мать сквозь сентиментальный розовый флер, хотя в свое время покинули ее, потому что она обернулась для них злой мачехой, – сказал Кан насмешливо. – Советую вам послушать, как на этой улице разглагольствуют о патриотизме, пиве, рейнских мелодиях и чувствительности фюрера.

Я взглянул на него.

– Что случилось? – спросил Кан.

– Ничего, – с трудом произнес я. – И все это здесь существует?

– Американцам на все наплевать. Они не принимают такие штуки всерьез. Несмотря на войну.

⁹ Черно-бело-красный флаг – флаг кайзеровской Германии, а черно-красно-золотой – флаг Веймарской республики.

– Несмотря на войну, – повторил я.

Слово «война» здесь просто не звучало. Эта страна была отделена от своих войн океаном и половиной земного шара. Ее границы нигде не соприкасались с границами вражеских государств. Эту страну не бомбили. И не обстреливали.

– Войны заключаются в том, что армии переходят через границы и вступают на территории соседних стран, на территории врага. Где эти границы? В Японии и в Германии? Война кажется здесь ненастоящей. Ты видишь солдат, но не видишь раненых. Наверное, они остаются там. Или, может, их вообще у американцев не бывает?

– Бывают. И убитые тоже.

– Все равно это ненастоящая война.

– Настоящая! Самая настоящая!

Я посмотрел на улицу. Кан проследил за моим взглядом.

– Ну, что скажете: город все тот же? Он не изменился после того, как вы сильно продвинулись в английском?

– Как сказать! В первые дни он был для меня картиной или пантомимой. Теперь обрел реальность: в нем обозначились выпуклости и впадины. Город заговорил, и кое-что я уже улавливаю. Но не так много. Это еще усугубляет ощущение нереальности. Раньше каждый таксист казался мне сфинксом, а продавец газет – мировой загадкой. По сию пору я вижу в каждом официанте маленького Эйнштейна. Правда, этого Эйнштейна я понимаю. Если, конечно, он не рассуждает в данный момент о физике и математике. Но волшебство сохраняется только до тех пор, пока тебе ничего не надо. Когда тебе что-нибудь требуется, сразу возникают трудности. Очнувшись от своих философских грез, я скатываюсь до уровня школьника, отставшего от своих сверстников.

Кан заказал двойную порцию мороженого.

– Pistachio and lime!¹⁰ – крикнул он вдогонку официантке. Мороженое Кан заказывал уже во второй раз. – В Америке есть семьдесят два сорта мороженого, – сообщил он с мечтательным выражением лица. – Конечно, не в этой закускойной, в больших кафе Джонсона и в аптеках. Приблизительно сорок сортов я уже перепробовал. Эта страна – рай для любителей мороженого! Между прочим, это разумное государство посылает своим солдатам, которые сражаются против японцев возле каких-то коралловых рифов, корабли, набитые мороженым и бифштексами.

Кан поглядел на официантку так, словно она несла в руках чашу Святого Грааля.

– Фисташкового мороженого у нас нет, – сказала официантка. – Я принесла вам мятное и лимонное. О'кей?

– О'кей.

Официантка улыбнулась.

– Какие здесь аппетитные женщины, – сказал Кан, – аппетитные, как все семьдесят два сорта мороженого, вместе взятые. Третью своих доходов они тратят на косметику. Кстати, иначе их не возьмут на работу. Пошлые законы человеческого естества не принимают здесь в расчет. Все обязаны быть молодыми. А если молодость ушла, ее возвращают искусственным путем. Внесите это наблюдение в вашу главу о нереальном мире.

Голос Кана успокаивал. Беседа журчала как ручеек.

– Вы, конечно, знаете «Apres-midi d'un Fawne» – сказал Кан. – Переименовав Дебюсси, можно сказать, что здесь вкушают «послеполуденный отдых» любители мороженого. Для нас такой отдых – целительный бальзам. Он излечивает больную душу. Правильно?

– В антикварной лавке мне приходится переживать нечто другое: «послеполуденный отдых» китайского мандарина незадолго до того, как его обезглавят.

¹⁰ Фисташковое и лимонное (англ.).

– Проводите лучше свои послеполуденные часы с какой-нибудь американочкой. Вы поймете ровно половину того, что она будет лепетать, и, не напрягая особенно воображения, вернетесь в золотые дни своей бестолковой юности. Все, что человек не понимает, окутано для него тайной. Ваш житейский опыт не рассеет этих чар, вас спасет недостаточное знание языка. Глядишь, и вам удастся претворить в жизнь одну из человеческих фантазий, так сказать, малого формата – еще раз пережить былое, уже обладая мудростью зрелого человека и вновь возвращенной восторженностью юности. – Кан засмеялся. – Не упускайте случая! Каждый день вы что-нибудь да теряете. Чем больше знакомых слов, тем меньше очарования. Еще сейчас любая здешняя женщина для вас заморское диво, экзотическое и загадочное. Но с каждым новым словом, которое вы заучиваете, диво приобретает все более зримые черты домохозяйки, ведьмы или красавицы с конфетной коробки. Храните, как лучший дар судьбы, свой нынешний возраст, оставайтесь подольше десятилетним школьником. К сожалению, вы быстро состаритесь – уже через год вам стукнет тридцать четыре. – Взглянув на часы, Кан подозвал официантку в фартуке с голубыми полосками. – Последнюю порцию! Ванильного.

– У нас есть еще миндальное.

– Тогда и миндального. И один шарик малинового! – Кан посмотрел на меня. – Я тоже осуществляю мечту своей юности. Только еще более примитивную. Заказываю столько мороженого, сколько душе угодно. Здесь я впервые в жизни имею эту возможность. Для меня она – символ свободы и беззаботности. А это, как известно, понятия, в которые мы там, за океаном, уже перестали верить. В какой форме мы здесь обрели и то и другое, это уже не важно.

Прищурившись, я смотрел на пыльную улицу, на сплошной поток автомобилей. Рокот моторов и шуршание шин сливались в один монотонный гул, который усыплял меня.

– А пока? Что бы вы хотели делать? – спросил Кан, помолчав немного.

– Ни о чем не думать, – сказал я. – И как можно дольше.

Лоу-старший спустился ко мне в подвал, который шел под улицей. Он держал в руках бронзовую скульптуру.

– Как вы считаете – что это?

– А чем это должно быть?

– Бронзой эпохи Чжоу. Или даже Тан. Пatina выглядит неплохо. Правда?

– Вы купили эту скульптуру?

Лоу ухмыльнулся.

– Без вас не стал бы. Мне ее принес один человек. Он ждет наверху в лавке. Просит за нее сто долларов. Отдаст, стало быть, за восемьдесят. По-моему, дешево.

– Слишком дешево, – сказал я, рассматривая скульптуру. – Этот человек – перекупщик?

– Не похоже. Молодой парень, уверяет, что получил скульптуру в наследство, а теперь нуждается в деньгах. Она – настоящая?

– Да, это китайская бронза. Но не эпохи Чжоу или Тан. Скорее, периода Тан или еще более позднего – Сун или Мин. Копия эпохи Мин, подражание более древней скульптуре. Причем подражали не так уж тщательно. Маски Дао-дзы выполнены не точно, да и спирали сюда не подходят – они получили распространение лишь после династии Хань. И в то же время декор – копия декора эпохи Тан, сжатый, простой и сильный. Однако если бы изображение росوماхи и основной орнамент относились к тому же периоду, они были бы значительно яснее и четче. Кроме того, в орнаменте попадаются сравнительно мелкие завитушки, которых на настоящей древней бронзе не встретишь.

– А как же патина? Она ведь очень красивая!

– Господин Лоу, – сказал я. – Можете не сомневаться, это довольно древняя патина. Но на ней не видно малахитовых прожилок. Вспомните, что китайцы уже в эпоху Хань копировали

и закапывали в землю скульптуры эпохи Чжоу. Пatina у них всегда была отменная, хотя сама вещь не обязательно создавалась в эпоху Чжоу.

– Какая цена этой бронзе?

– Долларов двадцать – тридцать. Но в таких вещах вы понимаете лучше, чем я.

– Хотите подняться со мной? – спросил Лоу; в голубых глазах его появился кровавый блеск.

– Мне обязательно идти?

– Разве вам это не доставит удовольствия?

– Что именно? Вывести на чистую воду мелкого мошенника? Зачем? К тому же я не думаю, что он мошенник. Кто в наше время разбирается в древней китайской бронзе?

Лоу бросил на меня быстрый взгляд.

– Ну, ну! Прошу без намеков, господин Росс.

Размахивая руками, толстяк затопал по лестнице в лавку, – он был маленького роста, кривоногий и очень энергичный. Лестница подрагивала под его шагами, со ступенек летела пыль. Какое-то время я видел только развевающиеся брючины и ботинки: туловище моего хозяина уже было в лавке. В это мгновение мне показалось, что передо мной не Лоу-старший, а круп театральная лошадка.

Через несколько минут ноги появились снова. А потом я узрел и бронзовую скульптуру.

– Купил! – сообщил мне Лоу. – Купил за двадцать долларов. Мин в конце концов тоже не так плохо.

– Безусловно, – согласился я.

Я знал, что Лоу купил эту бронзу только из желания показать, что и он кое-что смыслит в своем деле. Пусть не в китайском искусстве, зато в купле-продаже. Теперь толстяк внимательно наблюдал за мной.

– Долго вы еще собираетесь здесь работать? – спросил он.

– Всего?

– Да.

– Это зависит от вас. Хотите, чтобы я сматывал удочки?

– Нет, нет. Но держать вас вечно мы тоже не можем. Вы ведь скоро кончите? Чем вы занимались раньше?

– Журналистикой.

– Разве нельзя к этому вернуться?

– С моим знанием английского?

– Вы уже совсем неплохо болтаете по-английски.

– Помилуй Бог, господин Лоу! Я не могу написать простого письма без ошибок.

Лоу задумчиво почесал лысину бронзовой фигуркой.

Если бы бронза была эпохи Чжоу, он, наверное, обращался бы с нею более почтительно.

– А в живописи вы тоже смыслите?

– Самую малость. Так же, как в бронзе.

Он усмехнулся.

– Лучше, чем ничего. Придется мне пораскинуть мозгами. Может быть, кто-нибудь из моих коллег нуждается в помощнике. Правда, в делах сейчас застой. Вы это сами видите по нашей лавке. Но с картинами ситуация несколько иная. В особенности с импрессионистами. А уж старые полотна сейчас совершенно обесценены. Словом, посмотрим.

Лоу снова грузно затопал по лестнице.

До свидания, подвал, сказал я мысленно. Некоторое время ты был для меня второй родиной, темным прибежищем. Прощайте, позолоченные лампы конца девятнадцатого века, прощайте, пестрые вышивки 1890 года и мебель эпохи короля-буржуа Луи Филиппа, прощайте, персидские вазы и легконогие китайские танцовщицы из гробниц династии Тан, прощайте,

терракотовые кони и все другие безмолвные свидетели давно отшумевших цивилизаций. Я полюбил вас всем сердцем и провел в вашем обществе мое второе американское отрочество – от десяти лет до пятнадцати! Ahoi u evoe! Представляя против воли одно из самых поганых столетий, я и приветствую вас! И при этом чувствую себя запоздавшим и безоружным гладиатором, который попал на арену, где кишмя кишат гиены и шакалы и почти нет львов. Я приветствую вас как человек, который намерен радоваться жизни до тех пор, пока его не сожрут.

Я раскланялся на все четыре стороны. И благословил антикварную рухлядь справа и слева от меня, а потом взглянул на часы. Мой рабочий день кончился. Над крышами домов алел закат, и редкие световые рекламы уже начали излучать мертвенное сияние. А из закусокных и ресторанов по-домашнему запахло жиром и луком.

– Что здесь такое стряслось? – спросил я Меликова, придя в гостиницу.

– Рауль решил покончить с собой.

– С каких это пор?

– С середины сегодняшнего дня. Он потерял Кики, который вот уже четыре года был его другом.

– В этой гостинице без конца плачут, – сказал я, прислушиваясь к сдерживаемым рыданиям в плюшевом холле, которые доносились из угла, где стояли кадки с растениями. – И почему-то обязательно под пальмами.

– В каждой гостинице много плачут, – пояснил Меликов.

– В отеле «Ритц» тоже?

– В отеле «Ритц» плачут, когда на бирже падает курс акций. А у нас, когда человек внезапно осознает, что он безнадежно одинок, хотя до сих пор не хотел этому верить.

– Кики попал под машину?

– Хуже. Обручился. Для Рауля – это трагедия. Женщина! Исконный враг! Предательство! Оскорбление самых святых чувств! Лучше б он умер.

– Бедняги гомосексуалисты! Им приходится сражаться сразу на двух фронтах. Против мужчин и против женщин.

Меликов ухмыльнулся.

– До твоего прихода Рауль обронил немало ценных замечаний насчет слабого пола. Самое неизощренное из них звучало так: отвратительные тюлени с ободранной кожей... Хорошо, что ты пришел. Надо водворить его в номер. Здесь внизу ему не место. Помоги мне. Этот парень весит сто кило.

Мы подошли к уголку с пальмами.

– Он вернется, Рауль, – прошептал Меликов.

Мы тщетно пытались оторвать Рауля от стула. Он оперся о мраморный столик и продолжал хныкать. Меликов снова начал звать к нему. После долгих усилий нам удалось, наконец, приподнять его! Но тут он наступил мне на ногу. Стокилограммовая туша!

– Осторожней! Чертова баба! – заорал я.

– Что?

– То самое! Нечего распускать нюни! Старая баба!

– Я – старая баба? – возмутился Рауль. От неожиданности он несколько пришел в себя.

– Господин Росс хотел сказать совсем не то, – успокаивал его Меликов.

– И вовсе нет. Я хотел сказать именно то.

Рауль провел ладонью по глазам.

Мы смотрели на него, ожидая, что он сейчас истерически завизжит. Но он заговорил очень тихо.

– Я – баба? – Видно было, что он смертельно оскорблен.

– Этого он не говорил, – соврал Меликов. – Он сказал – как баба.

Мы без особого труда довели его до лестницы.

– Несколько часов сна, – заклинал Меликов. – Одна или две таблетки секонала. Освежающий сон. А после – чашка крепкого кофе. И вы увидите все в ином свете.

Рауль не отвечал.

– Почему вы нянчитесь с этим жирным кретином? – спросил я.

– Он наш лучший постоялец. Снимает двухкомнатный номер с ванной.

VI

Я бесцельно бродил по улицам, боясь возвращаться в гостиницу. Ночью я видел страшный сон и пробудился от собственного крика. Мне и прежде часто снилось, что за мной гонится полиция. Или же меня мучили кошмары, которые мучили всех эмигрантов: я вдруг оказывался по ту сторону немецкой границы и попадал в лапы эсэсовцев. Это были сны, вызванные отчаянием: шутка ли, из-за собственной глупости оказаться в Германии. Ты просыпался с криком, но потом, осознав, что по-прежнему находишься в Нью-Йорке, выглядывал в окно, видел ночное небо в красных отсветах и снова осторожно вытягивался на постели: да, ты спасен! Однако сон, который я видел сегодня ночью, был иной – расплывчатый, навязчивый, темный, липкий, как смола, и нескончаемый. . . Незнакомая женщина, растерянная и бледная, беззвучно взывала о помощи, но я не мог ей помочь. И она медленно погружалась в вязкую трясины, в кашу из дегтя, грязи и запекшейся крови, – погружалась, обратив ко мне окаменевшее лицо. Я видел немую мольбу в ее испуганных белых глазах, видел черный провал рта, к которому подползала темная липкая жижа. А потом вдруг появились «коммандос». Я увидел вспышки выстрелов, услышал пронзительный голос с саксонским акцентом, увидел мундиры, почуял ужасный запах смерти, тления и огня, увидел печь с распахнутыми дверцами, где полыхало яркое пламя, увидел растерзанного человека, который еще двигался, вернее, шевелил рукой, всего лишь одним пальцем; увидел, как палец этот очень медленно согнулся и как другой человек растоптал его. И тут же раздался чей-то вопль, вопли обрушились на меня со всех сторон, отдаваясь гулким эхом. . .

Я остановился у витрины, но не замечал ничего вокруг. Только спустя некоторое время я понял, что стою на Пятой авеню перед ювелирным магазином «Ван Клееф и Арпельс». В непонятном страхе я убежал из лавки братьев Лоу, ибо подвал антикваров напомнил мне сегодня в первый раз тюремную камеру. Я инстинктивно искал общества людей, хотел очутиться на широких улицах. Так я попал на Пятую авеню.

Теперь я не отрывал взгляда от диадемы, некогда принадлежавшей французской императрице Евгении. При электрическом свете бриллиантовые цветы диадемы, покоившиеся на черном бархате, ослепительно сверкали. По одну сторону от нее лежал браслет из рубинов, изумрудов и сапфиров, по другую – кольца и солитеры.

– Что бы ты выбрала из этой витрины? – спросила девица в красном костюме свою спутницу.

– Сейчас самое модное – жемчуг. В свете носят только жемчуг.

– Искусственный или настоящий?

– И тот и другой. Черное платье с жемчугом. Только это считается шиком в высшем обществе.

– По-твоему, Евгения не принадлежала к высшему обществу?

– Когда это было!

– Все равно, от этого браслета я не отказалась бы, – сказала девица в красном.

– Чересчур пестро, – отрезала ее спутница.

Я двинулся дальше. Время от времени я останавливался у табачных лавок, у обувных магазинов и магазинов фарфора или у гигантских витрин модных портных, перед которыми толпа зевак пожирала глазами каскады шелка, переливавшегося всеми цветами радуги. Я смешивался с толпой зевак и сам пожирал глазами витрины, жадно прислушиваясь и ловя обрывки фраз, как рыба, выброшенная из воды, ловит ртом воздух. Я проходил сквозь эту вечернюю сумятицу жизни, желая слиться с людским потоком, но поток не принимал меня. Куда бы я ни шел, меня сопровождала белесая тень, подобно тому, как Ореста сопровождало далекое завывание фурий.

Сперва я хотел разыскать Кана, но потом раздумал. Я не желал видеть никого, кто напоминал бы мне прошлое. Даже Меликова.

Избавиться от сегодняшнего ночного кошмара было трудно. Обычно при дневном свете сны выцветали и рассеивались, через несколько часов от них оставалось лишь слабое, похожее на облачко воспоминание, с каждой минутой оно бледнело, а потом и вовсе исчезало. Но этот сон, хоть убей, не пропадал. Я отгонял его, он не уходил. Оставалось ощущение угрозы, мрачной, готовой вот-вот сбыться.

В Европе я редко видел сны. Я был поглощен одним желанием – выжить. Здесь же я почувствовал себя спасенным. Между мной и прошлой жизнью пролегал океан, необъятная стихия. И во мне пробудилась надежда, что затемненный пароход, который словно призрак пробрался между подводными лодками, навсегда ускользнул от теней прошлого. Теперь я знал, что тени шли за мной по пятам, они заползали туда, где я не мог с ними справиться, заползали в мои сны, в мое подсознание, громоздившее каждую ночь причудливые миры, которые каждое утро рушились. Но сегодня эти призрачные миры не хотели исчезать, они окутывали меня, подобно липкому мокрому дыму – от этого дыма мурашки бегали у меня по спине, – подобно отвратительному, сладковатому дыму. Дыму крематориев.

Я оглянулся: за мной никто не наблюдал. Вечер был такой безмятежный. Казалось, покой клубится между каменными громадами зданий, на фасадах которых поблескивают тысячи глаз – тысячи освещенных окон. Золотистые ряды витрин, высотой в два-три этажа, ломались от ваз, картин и мехов, от старинной полированной мебели шоколадного цвета, освещенной лампами под шелковыми абажурами. Вся эта улица буквально лоснилась от чудовищного мещанского самодовольства. Она напоминала книжку для малышей с пестрыми картинками, которую перелистывал добродушный бог расточительства, приговаривая при этом: «Хватайте! Хватайте! Достанет на всех!»

Мир и покой! На этой улице в этот вечерний час вновь пробуждались иллюзии, увядшая любовь расцветала опять, и всходы надежд зеленели под благодатным ливнем лжи во спасение. То был час, когда поднимала голову мания величия, расцветали желания и умолкал голос самоуничтожения, час, когда генералы и политики не только понимали, но на краткий миг чувствовали, что и они тоже люди и не будут жить вечно.

Как я жаждал породниться с этой страной, которая раскрашивала своих мертвецов, обожествляла молодость и посылала солдат умирать за тридевять земель в незнакомые страны, послушно умирать за дело, неведомое им самим.

Почему я не мог стать таким же, как американцы? Почему принадлежал к племени людей, лишенных родины, спотыкавшихся на каждом английском слове? Людей, которые с громко бьющимся сердцем подымались по бесчисленным лестницам или взлетали вверх в бесчисленных лифтах, чтобы потом брести из комнаты в комнату, – племени людей, которых в этой стране терпели не любя и которые полюбили эту страну только за то, что она их терпела?

Я стоял перед табачной лавкой фирмы «Данхилл». Трубки из коричневого дерева с «пламенем» матово блестели своими гладкими боками – они казались символами респектабельности и надежности, они обещали изысканные радости, спокойные вечера, заполненные приятной беседой, и ночи в спальне, где от мужских волос пахнет медом, ромом и дорогим табаком и где из ванной доносится тихая возня не слишком тощей хозяйки, приготавливающейся к ночи в широкой постели. Как все это не похоже на сигареты там, в Европе, сигареты, которые докуривают почти до конца, а потом торопливо гасят; как это не похоже на дешевые сигареты «Голуаз», пахнущие не уютом и довольством, а только страхом.

Я становлюсь омерзительно сентиментальным, подумал я. Просто смешно! Неужели я стал одним из бесчисленных Агасферов и тоскую по теплой печке и вышитым домашним туфлям? По затхлому мещанскому благополучию и привычной скуке обывательского житья?

Я решительно повернулся и пошел прочь от магазинов Пятой авеню. Теперь я шел на запад и, миновав сквер, отданный во власть подонкам и дешевым театришкам бурлеска, вышел на улицы, где люди молча сидели у дверей своих домов на высоких крылечках, а детишки копошились между узкими коробками домов из бурого камня, похожие на грязных белых мотыльков. Взрослые показались мне усталыми, но не слишком озабоченными, если можно было доверять защитному покрову темноты.

Мне нужна женщина, думал я, приближаясь к гостинице «Ройбен». Женщина! Глупая, хохочущая самка с крашеными желтыми волосами и покачивающимися бедрами. Женщина, которая ничего не понимает и не задает никаких вопросов, кроме одного, достаточно ли у тебя при себе денег. И еще я хочу бутылку калифорнийского бургундского и, пожалуй, немного дешевого рома, чтобы смешать его с бургундским. Эту ночь я должен провести у женщины, ибо мне нельзя возвращаться в гостиницу. Нельзя возвращаться в гостиницу. В эту ночь никак нельзя.

Но где найти такую женщину? Такую девку? Шлюху? Нью-Йорк – не Париж. Я уже по опыту знал, что нью-йоркская полиция придерживается пуританских правил, когда дело касается бедняков. Шлюхи не разгуливают здесь по улицам, и у них нет опознавательных знаков – зонтиков и сумок необъятных размеров. Есть, конечно, номера телефонов, но для этого нужно время и знание этих номеров.

– Добрый вечер, Феликс, – сказал я. – Разве Меликов еще не пришел?

– Сегодня суббота, – ответил Феликс. – Мое дежурство.

Правильно. Сегодня суббота. Я совсем об этом забыл. Мне предстояло длинное, унылое воскресенье, и внезапно на меня напал страх.

В номере у меня еще оставалось немного водки и, кажется, несколько таблеток снотворного. Невольно я подумал о толстом Рауле. А ведь только вчера я насмеялся над ним. Теперь и я чувствовал себя бесконечно одиноким.

– Мисс Петрова тоже спрашивала Меликова, – сказал Феликс.

– Она уже ушла?

– Нет, по-моему. Хотела подождать еще несколько минут.

Наташа Петрова шла мне навстречу по тускло освещенному плюшевому холлу.

Надеюсь, она не будет сегодня плакать, подумал я и снова удивился тому, какая она высокая.

– Вы опять торопитесь к фотографу? – спросил я.

Она кивнула.

– Хотела выпить рюмку водки, но Владимира Ивановича сегодня нет. Совсем забыла, что у него свободный вечер.

– У меня тоже есть водка, – сказал я поспешно, – могу принести.

– Не трудитесь. У фотографа сколько угодно выпивки. Просто я хотела немного посидеть здесь.

– Все равно сейчас принесу. Это займет не больше минуты.

Я взбежал по лестнице и открыл дверь. Бутылка поблескивала на подоконнике. Не глядя по сторонам, я взял ее и прихватил два стакана. В дверях я обернулся. Ничего – ни теней, ни призраков. Недовольный собою, я покачал головой и пошел вниз.

Наташа Петрова показалась мне на этот раз не такой, какой я ее представлял. Менее истеричной и более похожей на американку. Но вот раздался ее хрипловатый голос, и я услышал, что она говорит с легким акцентом. Не с русским, а скорее с французским, – насколько я мог об этом судить. На голове у нее был сиреневый шелковый платок, небрежно повязанный в виде тюрбана.

– Чтобы не испортить прическу, – пояснила Наташа. – Сегодня мы снимаемся в вечерних туалетах.

– Вам нравится здесь сидеть? – спросил я.

– Я вообще люблю сидеть в гостиницах. В гостиницах не бывает скучно. Люди приходят и уходят. Здравуются и прощаются. Это и есть лучшие минуты в жизни.

– Вы так считаете?

– Наименее скучные, во всяком случае. А все, что между ними... – Она нетерпеливо махнула рукой. – Правда, большие гостиницы безлики. Там человек слишком тщательно скрывает свои эмоции. Тебе кажется, что в воздухе пахнет приключениями, но приобщиться к ним невозможно.

– А здесь можно?

– Скорее. Здесь люди распускаются. Я, между прочим, тоже. Кроме того, мне нравится Владимир Иванович. Он похож на русского.

– Разве он не русский?

– Нет, он чех. Правда, деревня, из которой он родом, раньше принадлежала России, но после девятнадцатого года она стала чешской. Потом ее оккупировали нацисты. Похоже, что скоро она опять станет русской или чехословацкой... Навряд ли ее заберут американцы. – Засмеявшись, Наташа встала. – Мне пора. – Секунду она колебалась, потом предложила: – Почему бы вам не пойти со мной? Вы с кем-нибудь условились на вечер?

– Ни с кем не уславливался, но боюсь, что фотограф меня выгонит.

– Никки? Странная мысль. У него всегда масса народа. Одним человеком больше или меньше – какая разница! Все это немножко богема!

Я догадался, почему она пригласила меня к фотографу: чтобы сгладить неловкость, возникшую в первые минуты знакомства. Собственно, мне не очень хотелось идти с нею. Что мне там делать? Но сегодня вечером я был рад любому приглашению, лишь бы не сидеть в гостинице. В отличие от Наташи Петровой я не ждал приключения. А в эту ночь и подавно.

– Поедем на такси? – спросил я в дверях.

Наташа расхохоталась.

– Постояльцы гостиницы «Ройбен» не берут такси. Это я хорошо усвоила. Кроме того, нам совсем недалеко. А вечер просто чудесный. Ночи в Нью-Йорке! Нет, я не создана для сельской идиллии. А вы?

– Право, не знаю.

– Вы никогда об этом не думали?

– Никогда, – признался я. – Да и когда мне было об этом думать? Непозволительная роскошь! Приходилось радоваться, что ты вообще жив.

– Стало быть, у вас еще многое впереди, – сказала Наташа Петрова. Она шла против потока пешеходов, похожая на узкую, легкую яхту, и ее профиль под сиреневым тюрбаном напоминал профиль фигуры на носу старинного корабля, фигуры, которая спокойно возвышается над водой, обрызганная пеной и устремленная в неведомое. Наташа шла быстро, резким шагом, как будто ей узка юбка. Она не семенила и дышала всей грудью. Я подумал, что в первый раз за все свое пребывание в Америке иду вдвоем с женщиной. И чувствую это!

Ее встретили как любимое дитя, которое где-то долго пропадало. В огромном голом помещении, освещенном софитами и уставленном белыми ширмами, разгуливал человек десять. Фотограф и еще двое каких-то типов обняли и расцеловали Наташу; еле тлевшая болтовня быстро разгорелась. Меня тут же представили. Одновременно кто-то разносил водку, виски и сигареты. А потом я вдруг оказался сидящим в кресле несколько в стороне от остальной публики: обо мне забыли.

Но я не горевал. Я увидел то, чего еще никогда не видел. Здесь распаковывали огромные картонки с платьями, несли их за занавес, а потом опять выносили. Все с жаром спорили о том, что следует снимать в первую очередь. Кроме Наташи Петровой в ателье были еще две манекенщицы: блондинка и брюнетка в серебряных тифельках на высоких каблуках. Они были очень красивы.

– Сперва пальто! – заявила энергичная дама.

– Нет, сперва вечерние туалеты, – запротестовал фотограф, худощавый светловолосый человек с золотой цепочкой на запястье. – Иначе они сомнутся.

– Их вовсе не обязательно надевать под пальто. А пальто надо вернуть как можно скорее. В первую очередь – меховые манто, фирма ждет их.

– Ладно! Начнем с мехов.

И все заспорили снова, как надо фотографировать меха. Я прислушивался к спору, но ничего не мог разобрать. Веселое оживление и тот пыл, с каким каждый приводил свои доводы, делало все это похожим на сцену из какого-то спектакля. Чем не «Сон в летнюю ночь»! Или какая-нибудь музыкальная комедия в стиле рококо, – например, «Кавалер роз». Или фарс Нестроя! Правда, сами участники представления воспринимали свои действия всерьез и горячились не на шутку. Но от этого все происходящее еще больше напоминало пантомиму и казалось совершенно нереальным. Ей-богу, каждую секунду в комнату под звуки рога мог вбежать Оберон!

Но вот свет софитов направили на белую ширму, к которой подтащили гигантскую вазу с искусственными цветами – дельфиниумами. Одна из манекенщиц в серебряных тифельках на высоких каблуках вышла в бежевой меховой накидке. Директриса модного ателье бросилась одергивать и разглаживать накидку; два софита, которые находились чуть ниже других, тоже вспыхнули, и манекенщица замерла на месте, словно ее взяли на мушку.

– Хорошо! – воскликнул Никки. – Еще раз, darling¹¹.

Я откинулся на спинку кресла. Да, хорошо, что я пришел сюда. Лучшего нельзя было и придумать.

– А теперь Наташа, – произнес чей-то голос. – Наташа в шубке из каракульчи.

Наташа появилась совершенно неожиданно. Тоненькая женская фигурка, закутанная в черный блестящий мех, уверенно стояла на фоне белой ширмы. На голове у нее было нечто вроде берета из того же самого легкого и блестящего меха.

– Отлично! – возопил Никки. – Стой как стоишь! – Он отогнал директрису, которая хотела что-то поправить. – Потом мы сделаем еще несколько снимков. А на этот раз не надо придуманных поз.

Боковые софиты устремились на маленькое узкое лицо, глаза Наташи были сейчас прозрачно-голубые; при сильном свете, лившемся со всех сторон, они сверкали, подобно звездам.

– Снимаю! – крикнул Никки.

Наташа Петрова не замирала на месте, как обе ее товарки. Она просто стояла, не шевелясь, будто это было для нее вполне естественное состояние.

– Хорошо! – похвалил Никки. – А теперь распахни пальто.

Наташа развела полы шубки, словно крылья бабочки. Минуту назад пальто казалось очень узким, на самом деле оно было с огромным запахом. Я увидел белую подкладку в большую серую клетку.

– Держи полы, – крикнул Никки, – разведи их, пошире. Ты похожа на бабочку «Павлиний глаз». Молодец!

– Как вам здесь нравится? – спросил меня кто-то.

¹¹ Дорогая (англ.).

Это был бледный черноволосый мужчина со странно блестящими, темными, как вишни, глазами.

– Ужасно нравится, – ответил я чистосердечно.

– Конечно, сейчас мы не располагаем моделями от Балансиаги и от прославленных французских портных. Таковы последствия войны, – прибавил незнакомец, тихонько вздохнув. – Но Майнбохер и Валентин тоже смотрятся неплохо. Как, по-вашему?

– Совершенно верно, – подтвердил я, не имея понятия, о чем идет речь.

– Будем надеяться, что все это скоро кончится и мы опять начнем получать первоклассные ткани. Лионский шелк...

Незнакомца позвали, он встал. Причина, по которой он проклинал эту войну, вовсе не показалась мне смешной. Наоборот, здесь она выглядела на редкость разумной.

Потом фотограф начал снимать вечерние туалеты. И внезапно около меня очутилась Наташа Петрова. На ней было длинное белое обтягивающее платье с большим декольте.

– Вы не очень скучаете? – спросила Наташа.

– Что вы? Совсем нет, – сказал я, несколько смешавшись, и с удивлением воззрился на нее. – По-моему, меня преследуют галлюцинации. Правда, на сей раз приятные. Эту диадему я видел не далее как сегодня днем в витрине у «Ван Клеефа и Арпельса». Как странно.

Наташа засмеялась.

– У вас зоркий глаз.

– Это действительно та же диадема?

– Да. Журнал, для которого мы делаем снимки, взял ее напрокат. Неужели вы могли подумать, что я купила диадему?

– Бог его знает! Сегодня ночью все мне кажется возможным. Никогда в жизни не видел столько платьев и шуб.

– Что вам больше всего понравилось?

– Трудно сказать. Наверное, та широкая и длинная накидка из черного бархата, которую показывали вы. Она могла бы быть от Балансиаги.

Наташа быстро повернулась и смерила меня взглядом.

– Она и есть от Балансиаги. А вы – шпион?

– Шпион? В шпионаже меня еще никто не обвинял. Интересно, на какую страну я работаю?

– На другую фирму. На наших конкурентов. Вы той же специальности, что и все здесь? Признайтесь. Иначе вы никак не могли бы отгадать, что накидка от Балансиаги.

– Наташа Петрова, – торжественно начал я, – клянусь, что еще десять минут назад имя Балансиаги было мне совершенно неизвестно. Услышав его, я подумал бы, что это марка автомобилей. Вон тот бледный господин назвал мне это имя впервые. Он сказал, правда, что модели от Балансиаги не попадают сейчас за океан. Я просто пошутил.

– И попали в самую точку. Накидка и впрямь от Балансиаги. Переправлена в Америку на бомбардировщике. На «летающей крепости». Так сказать, контрабандным путем.

– Прекрасное применение для бомбардировщиков. Будем надеяться, что все последуют вашему примеру и на земле наступит золотой век.

– Так. Вы, стало быть, не шпион. Мне даже жаль. Все равно с вами надо держать ухо востро. Вы слишком быстро все схватываете. А питья у вас достаточно?

– Спасибо. Вполне достаточно.

Наташу позвали.

– После съемок мы поедem развлекаться. Посидим часок в «Эль Марокко». Так принято, – сказала она, отходя от меня. – Поедете?

Я не стал отвечать. Разумеется, я не мог поехать с ними. Для таких развлечений я был слишком беден. Придется объяснить ей это потом. Не очень приятная перспектива. Но время

еще есть. Пока что я плыл по течению. Не хотелось думать ни о завтрашнем дне, ни даже о ближайшем часе. Смуглая манекенщица, которую только что снимали в длинном суконном пальто бутылочного цвета, сбросила его, чтобы надеть другое. Платя на ней не оказалось, только белье. Никого это, впрочем, не смутило. Видимо, для присутствующих это было не в новинку, да к тому же среди здешних мужчин были и гомосексуалисты. Смуглая манекенщица показала мне очень красивой, она обладала небрежной и несколько ленивой самоуверенностью женщины, знающей, что всегда выйдет победительницей, и не слишком этому радующейся. Я видел и Наташу Петрову, наблюдал, как она меняет туалеты. Она была светлая, длиннотелая и стройная, и кожа ее напоминала почему-то лунный свет и жемчуг. Я не сказал бы, что она «мой тип», – «моим типом» была скорее темноволосая манекенщица, которую звали Соня... Мысли эти были не очень четкие, они расплывались. И в душе я порадовался, что у меня не возникало никаких определенных желаний и ассоциаций. Но больше всего я радовался, что не сижу в гостинице. Правда, меня несколько изумляло, что едва знакомые женщины представляли передо мной в таких позах, словно мы давно знали друг друга. Это напоминало миниатюру на эмали: множество разноцветных слоев наложено на основной слой, который, хотя его как будто и не видно, сообщает теплый тон всему изображению.

Только после того, как туалеты были уложены в картонки, я объяснил Наташе Петровой, что не могу идти со всей компанией в «Эль Марокко». Я уже знал, что это самое дорогое ночное кабаре в Нью-Йорке.

– Почему вы отказываетесь? – спросила Наташа.

– У меня нет денег.

– Вот дурень. Нас ведь тоже пригласили. Неужели вы думаете, что я заставила бы вас платить?

Она засмеялась, как всегда хрипловато. И хотя смех ее напомнил мне, сам не знаю почему, смех сутенера, у меня вдруг появилось приятное чувство, что я нахожусь в кругу сообщников.

– А драгоценности? Ведь их надо вернуть.

– Завтра. Это взял на себя журнал. А сейчас мы будем пить шампанское.

Я больше не протестовал. День кончался для меня совершенно неожиданно: я увидел жизнь в самых ее разных обликах – сперва мне было смешно, потом я испытал чувство чистой благодарности. Меня уже не удивляло, что мы сидим в одном из отдельных кабинетов «Эль Марокко» и что какой-то венец исполняет немецкие песни, хотя Америка и Германия находятся в состоянии войны. Я понимал только, что в Германии это было бы невозможно. А между тем в ресторане сидело много американских офицеров. Мне казалось, что я долго брел по пустыне и вдруг увидел оазис. Время от времени я, – правда, потихоньку – пересчитывал в кармане пятьдесят долларов – все мое состояние, готовый по первому требованию бросить его на ветер. Но никто от меня ничего не требовал. Так выглядит мирная жизнь, размышлял я. Мирная жизнь, которой я не знаю; так выглядит беззаботность, которой я никогда не испытывал. Но в мыслях моих не было зависти. Хорошо, что такое еще существует. Я сидел в компании незнакомых людей, и эти люди были мне ближе и приятней, нежели те, которых я прекрасно знал. Я сидел рядом с красивой женщиной, и ее взятая напрокат диадема сверкала в свете свечей. Я был жалким приживалой, я пил чужое шампанское, – и у меня было такое чувство, что эта совсем иная жизнь тоже дана мне взаймы всего на один вечер. Завтра ее придется вернуть.

VII

– Вас нетрудно будет устроить в какой-нибудь художественный салон, – сказал Лоу-старший. – Война вам в этом смысле на руку. У нас сейчас нехватка подсобной рабочей силы.

– Можно подумать, что я делец, наживающийся на войне, – сказал я сердито. – Мне без конца твердят, будто война дала мне массу преимуществ.

– А разве не дала? – Лоу с ожесточением почесал свой лысый череп мечом Михаила Архангела; скульптура была подделкой под старину. – Не будь войны, вы не оказались бы в Америке.

– Правильно. Но если бы не война, немцы не оказались бы во Франции.

– Разве вам здесь не лучше, чем во Франции?

– Господин Лоу, это бесцельный разговор. И в той и в другой стране я чувствую себя паразитом.

Лоу просиял.

– Паразитом! Очень метко. Я сам хотел это вам разъяснить. В вашем положении вы не можете претендовать на постоянную работу ни в одном художественном салоне. Вы должны найти себе приблизительно такое же занятие, как у нас. Так сказать, нелегальное. Я тут говорил с одним человеком, у которого вы, наверное, сможете пристроиться. Он тоже паразит. Но богатый паразит. Торгует предметами искусства. Картинами. Тем не менее он паразит.

– Он торгует подделками?

– Боже избави! – Лоу отложил поддельного Михаила Архангела и сел в почти целиком отреставрированное флорентийское кресло времен Савонаролы – только верхняя часть кресла была подлинной. – Торговля предметами искусства – вообще ремесло для людей с нечистой совестью, – начал он тоном поучения. – Мы зарабатываем деньги, которые, собственно, должен был бы заработать художник. Ведь мы получаем за те же произведения во много раз больше, чем в свое время их создатель. Когда речь идет об антикварных вещах или о предметах прикладного искусства, все это еще не так страшно. Страшно бывает с «чистым искусством». Вспомните Ван Гога. За всю свою жизнь он не продал ни одной картины и жил впроголодь, а сейчас торговцы наживают на нем миллионы. И так было испокон веку: художник голодает, а торговец обзаводится дворцами.

– По-вашему, дельцов мучает совесть?

Лоу подмигнул:

– Ровно настолько, чтобы барыши не казались им чересчур пресными. Торговцы картинами – народ своеобразный. Им хочется не только разбогатеть на произведениях искусства, но зачастую и подняться до уровня этого искусства. Ведь сам художник, продающий картины, почти всегда нищий, ему даже не на что поужинать. Таким образом, торговец чувствует свое превосходство, превосходство человека, который может заплатить за чужой ужин. Понятно?

– Даже очень. Хотя я не художник. Но в этом деле разбираюсь.

– Вот видите. Художника всегда используют. И вот, чтобы сохранить видимость любви к искусству, которое дает торговцам возможность жить в полном довольстве, и к художнику, которого они эксплуатируют, торговцы открывают художественные салоны. Иными словами, время от времени устраивают выставки. В основном они это делают, чтобы нажить деньги на художнике, связанном с ними по рукам и ногам кабальными договорами. Но также и для того, чтобы художник получил известность. Довольно-таки жалкое алиби. Однако на этом основании торгаши хотят считаться меценатами.

– Это, стало быть, и есть паразиты от искусства? – спросил я, развеселившись.

– Нет, – сказал Лоу-старший, закуривая сигару. – Они хоть что-то делают для искусства. Паразитами я называю дельцов, которые торгуют картинами, не имея ни лавок, ни салонов.

Они используют интерес, который другие вызывают своими выставками. И при этом без всяких затрат. Ведь они торгуют у себя на квартире. У них нет издержек производства. Разве что они платят секретарше. Даже за помещение с них не взимают налогов; арендная плата приравнивается у них к производственным расходам, потому что в квартире висят картины. И глядишь, вся семья паразита живет себе в этой квартире и радуется. Бесплатно. Мы гнем спину в лавке, тратим кровные денежки и драгоценное здоровье на служащих, а паразит валяется в кровати часов до девяти, а потом диктует письма секретарше и, как паук, поджидает покупателей.

– А вы разве не поджидаете покупателей?

– Не в такой роскоши. А как простой служащий, хотя служу у себя самого. И потом, я не пират.

– Почему бы и вам не стать паразитом, господин Лоу?

Лоу взглянул на меня, нахмурившись. И я понял, что совершил ошибку.

– Вы не хотите из этических соображений. Не правда ли? – спросил я.

– Хуже. Из финансовых. Стать пиратом можно, только имея в кармане большие деньги.

И хороший товар. Иначе опростоволосишься. Первоклассный товар.

– Значит, пират продает дешевле? Ведь издержек у него меньше.

Лоу сунул сигару в ступку эпохи Возрождения, но тут же вытащил ее обратно, разглядел и закурил снова.

– Да нет же, дороже! – завопил он. – В этом весь фокус. Богатые кретины дают себя одурачить и притом думают, что совершили выгодный бизнес. Люди, которые нажили миллионы своим горбом, попадают впросак, увы, самым глупым образом. Ловкачи играют на их снобизме и на их престиже, и тогда они лезут в ловушку, как мухи на липкую бумагу. – От сигары Лоу летели искры, словно от бенгальского огня. – Все дело в упаковке, – причитал он. – Посоветуйте вновь испеченному миллионеру купить Ренуара, и он поднимет вас на смех. Для него что Ренуар, что велосипед – один черт. Но скажите ему, что Ренуар придаст ему больший вес в обществе, и он тут же купит две его картины. Вы меня поняли?

Я слушал Лоу с восхищением. Время от времени он давал мне бесплатные уроки практической жизни. Обычно это происходило после обеденного перерыва, когда наступало некоторое затишье, или по вечерам, перед тем как я заканчивал свою работу в подвале. Сейчас было послеобеденное время.

– Знаете, почему я читаю вам курс лекций по высококвалифицированной торговле картинами?

– Чтобы подготовить меня к ведению боевых операций на фронте купли-продажи. Ибо с другими фронтами я уже знаком.

– Вы кое-как познакомились с первой в истории тотальной войной и думаете, что она для всех – внове. Но мы, деловые люди, ведем тотальную войну с сотворения мира. Фронт проходит у нас повсюду. – Лоу-старший гордо выпрямился. – Точно так же, как и в семейной жизни.

– Вы женаты? – спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему.

Мне не нравилось, когда слово «война» употребляли для нелепых сравнений. Для меня война была ни с чем не сравнима, даже если сравнения и не были нелепыми.

– Не женат! – ответил Лоу-старший, внезапно помрачнев. – Но мой брат задумал жениться. Хорошенькая история! Трагедия! Хочет жениться на американке! Полная катастрофа.

– На американке?

– Да, на эдакой девице со взбитыми космами, вытравленными перекисью. С глазами, как у селедки. И с оскаленной пастью, в которой торчат сорок восемь зубов, нацеленных на наши добытые потом и кровью денежки. На наши доллары – хочу я сказать. Словом, крашенная гиена с кривыми ногами. Обе ноги – правые!

Я задумался, пытаясь мысленно воссоздать этот образ. Но Лоу продолжал:

– Бедная моя мамочка! Хорошо, что она до этого не дожила. Если бы восемь лет назад ее не сожгли, она перевернулась бы сейчас в гробу.

Я так и не разобрался в его сумбурной болтовне, но одно слово вдруг заставило меня насторожиться, как звук сирены:

– Сожгли?

– Да. В крематории. Она родилась еще в Польше. А умерла здесь. Знаете...

– Знаю, – сказал я поспешно. – Но при чем тут ваш брат? Почему бы ему не жениться?

– Не на американке же, – возмутился Лоу. – В Нью-Йорке достаточно порядочных еврейских девушек. Разве он не может найти себе жену среди них? Так нет же, должен настоять на своем.

Постепенно Лоу успокоился.

– Извините, – сказал он. – Иногда у человека просто лопается терпение. Но мы говорили о другом. О паразитах. Вчера я беседовал с одним паразитом насчет вас. Ему, возможно, понадобится помощник, который разбирается в живописи, но не так уж хорошо, чтобы он мог подсмотреть его секреты, а потом продать их конкурентам. Ему нужен человек вроде вас, предпочитающий держаться в тени, а не мозолить всем глаза. Пойдите к нему и представьтесь. Сегодня в шесть вечера. Я уже говорил с ним о вас. Идет?

– Большое спасибо, – сказал я, приятно пораженный. – Большое, большое спасибо!

– Зарабатывать вы будете не так уж много. Но дело не в оплате, а в шансах, говаривал когда-то мой отец. Здесь, – Лоу обвел рукой свою лавку, – здесь у вас нет никаких шансов.

– Все равно. Я благодарен за время, проведенное у вас. И за то, что вы помогли мне. Почему, собственно?

– Никогда не следует спрашивать: «Почему?». – Лоу оглядел меня с ног до головы. – Почему? Конечно, мы здесь не такие уж филантропы. Знаете почему? Наверное, потому, что вы такой незащищенный.

– Что? – удивился я.

– Так оно и есть, – сам удивляясь, сказал Лоу. – А ведь, глядя на вас, этого никогда не скажешь. Но вы именно незащищенный. Эта мысль пришла в голову моему брату, когда мы как-то заговорили о вас. Он считает, что вы будете пользоваться успехом у женщин.

– Вот как! – Я был скорее возмущен.

– Только не принимайте моих слов близко к сердцу. Я ведь уже говорил вам, что во всем этом мой брат разбирается не лучше носорога. Сходите к пирату. Его фамилия Силверс. Сегодня вечером.

На дверях у Силверса не было таблички. Он жил в обычном жилом доме. Я ожидал встретить нечто вроде двуногой акулы. Но ко мне вышел очень мягкий, тщедушный и скорее застенчивый человек, он был прекрасно одет и вел себя крайне сдержанно. Налив мне виски с содовой, он стал осторожно меня выпрашивать. А немного погодя принес из соседней комнаты два рисунка и поставил их на мольберт.

– Какой рисунок вам больше нравится?

Я показал на правый.

– Почему? – спросил Силверс.

– Разве обязательно должна быть причина?

– Да. Меня интересует причина. Вы знаете, чьи это рисунки?

– Оба рисунка Дега. По-моему, это каждому ясно.

– Не каждому, – возразил Силверс со странно смущенной улыбкой. – Некоторым моим клиентам не ясно.

– Почему же они тогда покупают?

– Чтобы в доме висел Дега, – сказал Силверс печально.

Я вспомнил лекцию, прочитанную Лоу-старшим. Как видно, она соответствовала действительности. Конечно, я только наполовину поверил Лоу, он был склонен к преувеличениям, особенно когда речь шла о материях, ему не очень знакомых.

– Картины – такие же эмигранты, как и вы, – сказал Силверс. – Иногда они попадают в самые неожиданные места. Хорошо ли они себя там чувствуют – вопрос особый.

Он вынес из соседней комнаты две акварели.

– Знаете, чьи это акварели?

– Сезанна.

Силверс был поражен.

– А можете сказать, какая из них лучше?

– Все акварели Сезанна хороши, – ответил я. – Но левая пойдет по более дорогой цене.

– Почему? Потому, что она больше по размеру?

– Нет. Не потому. Эта акварель принадлежит к поздним работам Сезанна, здесь уже явно чувствуется кубизм. Очень красивый пейзаж Прованса с вершиной Сен-Виктуар. В Брюссельском музее висит похожий пейзаж.

Выражение лица Силверса вдруг изменилось. Он вскочил.

– Где вы раньше работали? – отрывисто спросил он.

Я вспомнил случай с Наташей Петровой.

– Нигде. В конкурирующих фирмах я не работал. И не занимаюсь шпионажем. Просто провел некоторое время в Брюссельском музее.

– Когда именно?

– Во время оккупации. Меня прятали в музее, а потом мне удалось бежать и перейти границу. Вот источник моих скромных познаний.

Силверс снова сел.

– В нашей профессии необходима сугубая осторожность, – пробормотал он.

– Почему? – спросил я, обрадовавшись, что он не требует от меня дальнейших разъяснений.

Секунду Силверс колебался.

– Картины – как живые существа. Как женщины. Не следует показывать их каждому встречному и поперечному. Иначе они потеряют свое очарование. И свою цену.

– Но ведь они созданы для того, чтобы на них смотрели.

– Возможно. Хотя я в этом сомневаюсь. Торговцу важно, чтобы его картины не были общеизвестны.

– Странно. Я думал, это как раз подымает цену.

– Далеко не всегда. Картины, которые слишком часто выставляли, на языке специалистов зовутся «сгоревшими». Их антипод – «девственницы». Эти картины всегда находились в одних руках, в одной частной коллекции, и их почти никто не видел. За «девственниц» больше платят. И не потому, что они лучше, а потому, что любой знаток и собиратель жаждет находок.

– И за это он выкладывает деньги?

Силверс кивнул.

– К сожалению, в наше время коллекционеров раз в десять больше, чем знатоков. Эпоха истинных собирателей, которые были в то же время и ценителями, кончилась после первой мировой войны, в восемнадцатом году. Каждому политическому и экономическому перевороту сопутствует переворот финансовый. И тогда состояния меняют своих владельцев. Одни все теряют, другие богатеют. Старые собиратели вынуждены продавать свои коллекции, на их место приходят новые. У этих новых есть деньги, но зачастую они ничего не смыслят в искусстве. Чтобы стать истинным знатоком, требуется время, терпение и любовь.

Я внимательно слушал. Казалось, в этой комнате с двумя мольбертами, обитой серым бархатом, хранилась утерянная тишина мирных эпох. Силверс поставил на один из мольбертов новый картон.

– Вы знаете, что это?

– Моне. Поле маков.

– Нравится?

– Необычайно. Какое спокойствие! И какое солнце! Солнце Франции.

– Ну что ж, давайте попытаемся, – сказал Силверс наконец. – Особых знаний здесь не требуется. Мне нужен человек надежный и молчаливый. Это – главное. Шесть долларов в день. Согласны?

Я сразу встрепенулся.

– За какие часы? За утренние или за вечерние?

– За утренние и за вечерние. Но в промежутке у вас будет много свободного времени.

– Это приблизительно та сумма, какую получает вышколенный мальчик на побегушках.

Я ждал, что он скажет: ваши функции будут примерно такими же! Но Силверс проявил деликатность. Он вслух подсчитал, сколько получает мальчик на побегушках. Оказалось, меньше.

– Десять долларов – это минимум. Иначе я не согласен, – сказал я. – У меня долги, которые я обязан выплачивать.

– Уже долги?

– Да. Я должен адвокату, который продлевает мой вид на жительство.

Я знал, что Силверс уже слышал все это от Лоу, тем не менее он притворился, будто отсутствие документов бросает на меня тень и будто он должен вновь обдумать, стоит ли со мной связываться. Наконец-то хищник показал когти.

Мы сторговались на восьми долларах после того, как Силверс со смущенной улыбкой пояснил, что, поскольку я работаю нелегально, мне не придется платить налогов. Кроме того, я недостаточно свободно говорю по-английски. Тут я его, положим, поймал.

– Зато я говорю по-французски, – сказал я. – А это в вашем деле гораздо важнее.

Тогда он согласился на восемь долларов, пообещав, что, если я справлюсь с работой, мы еще вернемся к этому разговору.

Я пришел в гостиницу, и моим глазам представилось необычное зрелище. В старомодном холле горели все лампы, даже те, которые бережливая администрация неукоснительно выключала. Посередине стоял стол, вокруг которого собралась весьма занятая, разношерстная компания. Председательское место занимал Рауль. Он сидел у торца стола в бежевом костюме гигантских размеров, похожий на гигантскую потную жабу; стол, к моему удивлению, был накрыт белой скатертью, и гостей обслуживал официант. Рядом с Раулем восседал Меликов; кроме них за столом сидели: Лахман и его пуэртиориканка; мексиканец в розовом галстуке, с каменным лицом и беспокойными глазами; белокурый молодой человек, говоривший басом, хотя можно было предположить, что у него высокое сопрано, и две жгучие брюнетки неопределенного возраста – от тридцати до сорока, – востроглазые, темпераментные и привлекательные. По другую руку от Меликова сидела Наташа Петрова.

– Господин Росс, – крикнул Рауль, – окажите нам честь!

– В чем дело? – спросил я. – Коллективный день рождения? Или, может, кто-нибудь выиграл крупную сумму?

– Присаживайтесь, господин Росс, – сказал Рауль, еле ворочая языком. – Один из моих спасителей, – пояснил он белокурому молодому человеку, говорившему басом. – Пожмите друг другу руки! Это – Джон Болтон.

У меня было такое чувство, точно я коснулся дохлой рыбы. От молодого человека со столь низким голосом я невольно ждал крепкого рукопожатия.

– Что вы будете пить? – спросил Рауль. – У нас есть все, что вашей душе угодно: кока-кола, лимонад, американское виски, шотландское виски. И даже шампанское. Я помню, что вы сказали в тот раз, когда мое сердце исходило печалью... Все течет, сказали вы. Цитата из какого-то древнего грека. Правда? Из Гераклита, или Демокрита, или Демократа. Знаете, что говорят в таких случаях на Седьмой авеню: «Ничто не вечно под луной, и красotka станет сатаной». Очень справедливо. А на смену приходит другая молодежь. Итак, что вы будете пить? Альфонс! – Он подозвал официанта жестом, достойным римского императора.

– Что вы пьете? – спросил я Наташу Петрову.

– Водку, как всегда, – ответила она весело.

– Водку, – сказал я Альфонсу.

– Двойную порцию, – добавил Рауль, глядя на меня осоловелыми глазами.

– Что это? Мистерия человеческой души – любовь? – спросил я Меликова.

– Мистерия человеческих заблуждений, когда каждый верит, что другой – его пленник.

– *Le coup de foudre*¹² – сказала Наташа Петрова. – Любовь без взаимности.

– Как вы оказались здесь, в этой компании?

– Случайно. – Наташа засмеялась. – Случай. Счастливый случай. Мне давно хотелось вырваться из стерильной и однообразной атмосферы унылых приемов. Но такого я не ожидала.

– Вы опять собираетесь к фотографу?

– Сегодня не собираюсь. А почему вы спрашиваете? Пошли бы со мной?

Собственно, я не хотел говорить этого прямо, но почему-то сказал:

– Да.

– Наконец-то я слышу от вас нечто вразумительное, – сказала Наташа Петрова. – *Salut!*

– *Salut, salve, salute!* – крикнул Рауль и начал со всеми чокаяться. При этом он попытался даже встать, но плюхнулся на кресло в виде трона, которое затрещало под ним. Эта старая гостиница в довершение всего была обставлена топорной псевдоготической мебелью.

Пока все чокались, ко мне подошел Лахман.

– Сегодня вечером, – шепнул он, – я напью мексиканца.

– А сам не напьешься?

– Я подкупил Альфонса. Он подает мне только воду. Мексиканец думает, что я пью, как и он, текилу. У нее тот же цвет, то есть она бесцветная.

– Я бы лучше подпоил даму сердца, – сказал я. – Мексиканец не имеет ничего против. Не хочет сама дама.

На секунду Лахман потерял уверенность в себе, но потом упрямо сказал:

– Ничего не значит. Сегодня это выйдет. Должно выйти. Должно. Понимаешь?

– Пей лучше с ними обоими... И с самим собой тоже. Может, спьяну ты придумаешь что-нибудь такое, до чего бы трезвый не додумался. Бывают пьяные, перед которыми трудно устоять.

– Но тогда я ничего не почувствую. Все забуду. Будет так, как будто ничего и не было.

– Жаль, что ты не можешь внушить себе обратное. Что все было, но для тебя как будто и не было.

– Послушай, ведь это жульничество, – запротестовал взволнованный Лахман. – Надо вести честную игру.

– А разве это честная игра – пить воду?

¹² Любовь с первого взгляда (*франц.*).

– Я честен с самим собой. – Лахман наклонился к моему уху. Дыхание у него было горячее и влажное, хоть он и пил одну воду. – Я узнал, что у Инес вовсе не ампутирована нога, она у нее просто не сгибается. Металлическую пластинку она носит из тщеславия.

– Что ты выдумываешь, Лахман!

– Я не выдумываю. Я знаю. Ты не понимаешь женщин. Может, она потому и отказывает мне? Чтобы я не дознался.

На секунду я потерял дар речи. Amore, amour¹³, думал я. Вспышка молнии в ночи заблуждений, тщеславия в глубочайшей безнадежности, чудо белой и черной магии. Будь же благословенна, любовь. Я торжественно поклонился.

– Дорогой Лахман, в твоём лице я приветствую звездный сон любви.

– Вечные твои остроты! Я говорю совершенно серьезно.

Рауль с трудом приподнялся.

– Господа, – начал он, обливаясь потом. – Да здравствует жизнь! Я хочу сказать: как хорошо, что мы еще живем. Стоит мне подумать, что совсем недавно я хотел лишиться себя жизни, и я готов вlepить себе пощечину. Какими же мы бываем идиотами, когда мним себя особенно благородными.

Пуэрториканка внезапно запела. Она пела по-испански. Наверное, это была мексиканская песня. Голос у нее был великолепный, низкий и сильный. Она пела, не сводя глаз с мексиканца. Это была песня, исполненная печали и в то же время ничем не прикрытого сладострастия. Почти жалобная песня, далекая от всяких раздумий и прикрас цивилизации. Песня эта возникла в те стародавние времена, когда человечество еще не обладало самым своим человеческим свойством – юмором; она была прямая до бесстыдства и ангельски чистая. Ни один мускул не дрогнул на лице мексиканца. Да и женщина была недвижима – говорили только ее губы и взгляд. И оба они смотрели друг на друга немигающими глазами, а песня все лилась и лилась. То было слияние без единого прикосновения. Но они оба знали, что это так. Я оглянулся – все молчали. Я оглядывал их всех по очереди, а песня продолжала литься: я видел Рауля и Джона, Лахмана, Меликова и Наташу Петрову – они молча слушали, эта женщина подняла их над обыденностью, но сама она никого не видела, кроме мексиканца, кроме его помятого лица сутенера, в котором сосредоточилась вся ее жизнь. И это не было ни странно, ни смешно.

¹³ Любовь (исп. и франц.).

VIII

Перед тем как приступить к своим обязанностям, я получил трехдневный отпуск. В первый день я прошел всю Третью авеню в самый свой любимый час перед наступлением сумерек, когда в антикварных лавках время, казалось, замирает, тени становятся синими, а зеркала оживают. В этот час из ресторанов тянет запахом жареного лука и картофеля, официанты накрывают на стол, и омары, выставленные в огромных витринах «Морского царя» на ложе пыток изо льда, пытаются поползти на своих клешнях, изуродованных острыми деревянными колышками. Я не мог без содрогания смотреть на их круглые выгнутые тела, – они напоминали мне камеры пыток в концлагерях, на родине поэтов и мыслителей.

– Имперский егермейстер Герман Геринг не допустил бы ничего подобного, – сказал Кан, который тоже подошел к витрине с огромными крабами.

– Вы говорите об омарах? Крабы ведь четвертованы.

Кан кивнул.

– Третий рейх славится своей любовью к животным. Овчарку фюрера зовут Блонди, и фюрер лелеет ее как родное дитя. Имперский егермейстер, министр-президент Пруссии Герман Геринг и его белокурая Эмми Зоннеман держат у себя в Валгалле молодого льва, и Герман, облачившись в одежду древнего германца, с охотничьим рогом на боку, подходит к нему с ласковой улыбкой. А шеф всех концлагерей Генрих Гиммлер нежно привязан к ангорским кроликам.

– Зато при виде четвертованных крабов у Фрикка, имперского министра внутренних дел, может возникнуть какая-нибудь плодотворная идея. Впрочем, как человек культурный – и даже доктор, – он отказался от гильотины, сочтя ее чересчур гуманной, и заменил гильотину ручным топором. Может быть, он решит теперь четвертовать евреев, наподобие крабов.

– Как-никак мы народ, изначальным свойством которого было добродушие, – сказал Кан мрачно.

– Существует еще одно исконно тевтонское свойство – злорадство.

– А не пора ли перестать? – спросил Кан. – Наш юмор становится несколько утомительным.

Мы взглянули друг на друга, как школьники, захваченные на месте преступления.

– Не знал, что от этого невозможно отделаться, – пробормотал Кан.

– Только нам так плохо?

– Всем. После того как улетучивается первое, поверхностное чувство защищенности и ты перестаешь играть сам с собою в прятки и вести страусову политику, тебя настигает опасность. Она тем больше, чем защищенной чувствует себя человек. Завидую тем, кто, подобно неунывающим муравьям, сразу же после грозы начинает строить заново, вить гнездышко, строить собственное дело, семью, будущее. Самой большой опасности подвергаются люди, которые ждут.

– И вы ждете?

Кан посмотрел на меня с насмешкой.

– А разве вы, Росс, не ждете?

– Жду, – сказал я, помолчав немного.

– Я тоже. Почему, собственно?

– Я знаю почему.

– У каждого свои причины. Боюсь только, что когда война кончится, причины эти испарятся, как вода на горячей плите. И мы опять потеряем несколько лет, прежде чем начнем все сначала. Другие люди обгонят нас за эти несколько лет.

– Какая разница? – спросил я с удивлением. – Жизнь ведь – не скачка с препятствиями.

– Вы думаете? – спросил Кан.

– Дело не в соперничестве. Вернуться хочет большинство. Разве я не прав?

– По-моему, ни один человек не знает этого точно. Некоторым необходимо вернуться. Например, актерам. Здесь их ничего не ждет, они никогда не выучатся как следует говорить по-английски. Писателям тоже. В Штатах их не будут читать. Но у большинства причина совсем иная. Неодолимая, дурацкая тоска по родине. Вопреки всему. Черт бы ее подрал.

– Эдакую слепую любовь к Германии я наблюдал, – сказал я. – В Швейцарии. У одного еврея, коммерции советника. Я хотел стрельнуть у него денег. Но денег он мне не дал, зато дал добрый совет – вернуться в Германию. Газеты, мол, врут. А если кое-что и правда, то это временное явление, совершенно необходимые строгости. Лес рубят – щепки летят. И потом, сами евреи во многом виноваты. Я сказал, что сидел в концлагере. И тогда он разъяснил мне, что без причины людей не сажают и что самый факт моего освобождения – еще одно доказательство справедливости немцев.

– Этот тип людей мне знаком, – сказал Кан, нахмурившись. – Их не так уж много, но они все же встречаются.

– Даже в Америке. – Я вспомнил своего адвоката. – Кукушка, – сказал я.

Кан засмеялся.

– Кукушка! Нет ничего хуже дураков. Пошли они все к дьяволу!

– Наши дураки тоже.

– В первую очередь – наши. Но, может, мы, несмотря на все, отведаем крабов?

Я кивнул.

– Позвольте мне пригласить вас, уже сама возможность пригласить кого-нибудь в ресторан повышает тонус и избавляет от комплекса неполноценности. Ты перестаешь чувствовать себя профессиональным нищим. Или благородным паразитом, если хотите.

– Ничто не может избавить от комплекса вины за то, что ты жив, от комплекса, внушенного нам нашим возлюбленным отечеством. Но я принимаю ваше приглашение. И позвольте мне в свою очередь угостить вас бутылочкой нью-йоркского рислинга. На короткое время мы снова почувствуем себя людьми.

– По-вашему, мы здесь не люди?

– Люди на девять десятых.

Кан вытащил из кармана розовую бумагу.

– Паспорт! – с благоговением сказал я.

– Нет. Удостоверение для иностранцев, подданных вражеского государства. Вот кто мы здесь.

– Стало быть, все еще люди неполноценные, – сказал я, раскрывая огромное меню.

Вечером мы отправились к Бетти Штейн. Она осталась верна берлинскому обычаю. По четвергам к ней приходили вечером гости. Все, кто желал. А тот, у кого завелось немного денег, приносил бутылку вина, пачку сигарет или банку консервированных сосисок. У Бетти был патефон и старые пластинки. Песни в исполнении Рихарда Таубера и арии из оперетт Кальмана, Легара и Вальтера Колло. Иногда кто-нибудь из поэтов читал свои стихи. Но большую часть времени в салоне Бетти спорили.

– У нее благие намерения, – сказал Кан. – И все равно это – морг, где среди мертвецов бродят живые, вернее, полу-трупы, которые еще сами не осознали этого.

Бетти была в старом шелковом платье, сшитом еще в до-гитлеровские времена. Платье было ярко-лиловое, все в оборках, оно шуршало и пахло нафталином. Румяные щеки, седина и блестящие темные глаза Бетти никак не вязались с этим туалетом. Бетти протянула нам навстречу свои пухлые руки. В ней было столько сердечности, что в ответ можно было только беспомощно улыбнуться и сказать, что она трогательная и главная. Бетти нельзя было не любить. Она вела себя так, словно в 1933 году время остановилось. Действительность суще-

ствовала во все дни недели, но «четвергов» Бетти она не коснулась. По четвергам были опять Берлин и Веймарская конституция, оставшаяся в полной силе. В большой комнате, завешанной портретами покойников, было довольно много народа. Актер Отто Вилер стоял в кругу почитателей.

– Он завоевал Голливуд! – восклицала Бетти с гордостью. – Добился признания.

Вилер явно не возражал против чествования.

– Какую роль ему дали? – спросил я Бетти. – Отелло? Одного из братьев Карамазовых?

– Огромнейшую роль. Не знаю, какую точно. Но он всех заткнет за пояс! Его ждет слава Кларка Гейбла.

– Или Чарльза Лаутона, – ввернула племянница Бетти, высохшая старая дева, которая разливала кофе. – Скорее Чарльза Лаутона. Он ведь характерный актер.

Кан язвительно усмехнулся.

– Роль не такая уж грандиозная, – сказал он, – да и сам Вилер не был в Европе таким уж грандиозным актером. Помните историю о том, как один человек пошел в Париже в ночное кабаре русских эмигрантов? Владелец кабаре решил произвести на него впечатление. Поэтому он сказал: наш швейцар был раньше генералом, официант у нас граф, этот певец – великий князь и так далее и так далее. Гость молча слушал. Наконец владелец вежливо спросил, указывая на маленькую таксу, которую тот держал на поводке: «Будьте добры сказать, какой породы ваша собачка?» – «Моя собачка, – ответил посетитель, – была в свое время в Берлине огромным сенбернаром», – Кан грустно улыбнулся. – Вилер на самом деле получил маленькую роль. Он играет в одном второсортном фильме нациста, эсэсовца.

– Неужели? Но ведь он еврей.

– Ничего не значит. Пути Голливуда неисповедимы. Да и там, видимо, считают, что эсэсовцы и евреи – на одно лицо. Вот уже четвертый раз, как роль эсэсовца исполняет еврей. – Кан засмеялся. – Своего рода справедливость искусства. Гестапо косвенным образом спасает одаренных евреев от голодной смерти.

Бетти сообщила, что в этот вечер проездом в Нью-Йорке будет доктор Грефенгейм. Многие присутствовавшие знали его: он был знаменитым берлинским гинекологом. Одно из противозачаточных средств называли его именем. Кан познакомил меня с ним. Грефенгейм был скромный худощавый человек с темной бородкой.

– Где вы работаете? – спросил его Кан. – Где практикуете?

– Практикую? – удивился Грефенгейм. – Я еще не сдал экзаменов. Трудновато. А вы могли бы снова сдать на аттестат зрелости?

– Разве от вас этого требуют?

– Надо сдавать все с самого начала. И еще английский язык.

– Но ведь вы были известным врачом. Вас наверняка знают. И если в Штатах существуют такие правила, для вас должны сделать исключение.

Грефенгейм пожал плечами.

– Это не так. Наоборот, по сравнению с американцами нас ставят в более трудные условия. Вы ведь сами знаете, как все обстоит. Правда, специальность врача такова, что он спасает чужую жизнь. Но, вступив в свои фереины и клубы, врачи защищают собственную жизнь и не допускают в свою среду чужаков. Вот нам и приходится вторично сдавать экзамены. Нелегкое дело – экзаменоваться на чужом языке. Мне ведь уже за шестьдесят. – Грефенгейм виновато улыбнулся. – Надо было учить языки. Впрочем, всем нам несладко живется. А потом я еще должен год проходить стажировку в качестве ассистента. Но при этом я буду по крайней мере иметь бесплатное питание в больнице и крышу над головой...

– Вы можете сказать нам всю правду, – решительно прервала его Бетти. – Кан и Росс вас поймут. Дело в том, что его обобрали. Один подонок, тоже эмигрант, обобрал его.

– Послушайте, Бетти.

– Да. Нагло ограбил. У Грефенгейма была ценнейшая коллекция марок. Часть этой коллекции он отдал приятелю, который уже давно выехал из Германии. Тот должен был сохранить марки. Но когда Грефенгейм прибыл сюда, приятеля как подменили. Он заявил, что ровно ничего не получал от Грефенгейма.

– Старая история! – сказал Кан. – Обычно, впрочем, утверждают, что переданные вещи были отняты на границе.

– Тот тип оказался хитрее. Ведь иначе он признал бы, что получил марки. И, стало быть, у Грефенгейма появилось бы все же некоторое основание требовать возмещение убытков.

– Нет, Бетти, – сказал Кан. – Никаких оснований. Вы ведь не брали расписку? – спросил он Грефенгейма.

– Разумеется, не брал. Это было исключено, такие передачи совершались с глазу на глаз.

– Зато этот подлец живет теперь припеваючи, – возмущалась Бетти, – а Грефенгейм голодает.

– Ну уж и голодаю... Конечно, я рассчитывал оплатить этими деньгами мое вторичное обучение.

– Скажите мне, на сколько вас обштопали? – требовала безжалостная Бетти.

– Ну знаете... – смущенно улыбался Грефенгейм. – Да, это были мои самые редкие марки. Думаю, любой коллекционер охотно заплатил бы за них шесть-семь тысяч долларов.

Бетти уже знала эту историю, тем не менее ее глаза-вишни опять широко раскрылись.

– Целое состояние! Сколько добра можно сделать на эти деньги.

– Спасибо и на том, что марки не достались нацистам, – сказал Грефенгейм виновато.

Бетти взглянула на него с возмущением.

– Вечно эта присказка «спасибо и на том». Эмигрантская безропотность! Почему вы не проклинаете от всей души жизнь?

– Разве это поможет, Бетти?

– Всегдашнее ваше всепонимание, почти уже всепрощение. Неужели вы думаете, что нацист на вашем месте поступил бы так же? Да он избил бы обманщика до полусмерти!

Кан смотрел на Бетти с ласковой насмешкой; в своем платье с лиловыми оборками она была точь-в-точь драчливый попугай.

– Чего вы смеетесь? Ты, Кан, хоть задал перцу этим варварам. И должен меня понять. Иногда я просто задыхаюсь. Всегдашнее ваше смирение! И эта способность все терпеть! – Бетти сердито взглянула на меня. – Что вы на это скажете? Тоже способны все вытерпеть?

Я ничего не ответил. Да и что тут можно было ответить? Бетти встряхнула головой, посмеялась над собственной горячностью и перешла к другой группе гостей.

Кто-то завел патефон. Раздался голос Рихарда Таубера. Он пел песню из «Страны улыбок».

– Начинается! Ностальгия, тоска по Курфюрстендамму, – сказал Кан. И, повернувшись к Грефенгейму, спросил: – Где вы теперь обретаетесь?

– В Филадельфии. Один коллега пригласил меня к себе. Может, вы его тоже знаете: Равик¹⁴.

– Равик? Тот, что жил в Париже? Ну, конечно, знаю. Вот не предполагал, что ему удастся бежать. Чем он сейчас занимается?

– Тем же, чем и я. Но он ко всему легче относится. В Париже было вообще невозможно сдать экзамены. А здесь возможно: вот он и рассматривает это как шаг вперед. Мне тяжелей. Я, к сожалению, знаю только один проклятый немецкий, не считая греческого и латыни, на которых довольно свободно изъясняюсь. Кому они нужны в наше время?

¹⁴ Равик – герой романа Ремарка «Триумфальная арка».

– А вы не можете подождать, пока все кончится? Германии не выиграть эту войну, теперь это всем ясно. И тогда вы вернетесь.

Грефенгейм медленно покачал головой:

– Это – наша последняя иллюзия, но и она рассыплется в прах. Мы не сможем вернуться.

– Почему? Я говорю о том времени, когда с нацистами будет покончено.

– С немцами, может, и будет покончено, но с нацистами – никогда. Нацисты не с Марса свалились, и они не изнасиловали Германию. Так могут думать только те, кто покинул страну в тридцать третьем. А я еще прожил в ней несколько лет. И слышал рев по радио, густой кровавый рык на их сборищах. То была уже не партия нацистов, то была сама Германия.

А пластинка все вертелась. «Берлин остается Берлином», – пели певцы, которые за это время оказались либо в концлагерях, либо в эмиграции. Бетти Штейн и еще два-три человека внимали певцам, преисполненные восторга, недоверия и страстной тоски.

– Там, в стране, вовсе не хотят получить нас обратно, – продолжал Грефенгейм. – Никто. И никого.

Я возвращался в гостиницу. Прием у Бетти Штейн настроил меня на грустный лад. Я вспоминал Грефенгейма, который пытался начать жизнь заново. Зачем? Свою жену он оставил в Германии. Жена у него была немка. Пять лет она стойко сопротивлялась нажиму гестапо, не соглашаясь на развод с ним. За эти пять лет цветущая женщина превратилась в старуху, в комок нервов. . . Его то и дело таскали на допрос. И каждую ночь на рассвете жена и он тряслись от страха: в это время за ним обычно приезжали. Допросы начинались на следующий день или много дней спустя. И Грефенгейм сидел в камере с другими заключенными, как и они, весь в холодном поту от смертной тоски. В эти часы в камере возникало своеобразное братство. Люди шептались, не слыша друг друга. Они ловили каждый звук в коридоре, где раздавались шаги тюремщиков. Члены братства помогали товарищам тем немногим, что они имели, и одновременно были полны любви и ненависти друг к другу, раздираемые необъяснимыми симпатиями и антипатиями; иногда казалось, для них всех существует строго ограниченное число шансов на спасение и каждый новый человек в камере уменьшает возможности остальных.

Время от времени «гордость немецкой нации», двадцатилетние герои, выволакивали из камеры очередную жертву, пиная ее ногами, подгоняя ударами и руганью, – иначе они и не мыслили себе обращение с больными и старыми людьми. И в камере воцарялась тишина.

Нередко проходило много часов, прежде чем к ним швыряли взятого на допрос – окровавленное тело. И тогда все молча принимались за работу. Для Грефенгейма эти сцены стали настолько привычными, что, когда его в очередной раз забирали из дома, он просил плачущую жену сунуть ему в карман несколько носовых платков – пригодятся для перевязок. Бинты он брать не решался. Даже перевязки в камерах были актом огромного мужества. Бывало, что людей, которые на это шли, убивали как «саботажников».

Грефенгейм вспоминал несчастных жертв, которых опять водворяли в камеру. Каждое движение было для них мучительно, но многие все же обводили товарищей полубезумным взглядом и шептали охрипшими от крика голосами: «Мне повезло. Они меня не задержали!» Быть задержанным – значило оказаться в подвале, где узников затаптывали насмерть, или в лагере, где их истязали до тех пор, пока они не бросались на колючую проволоку, через которую был пропущен ток.

Свою практику ему уже давно пришлось передать другому врачу. Преемник обещал заплатить за нее тридцать тысяч марок, а заплатил тысячу, хотя практика стоила все триста тысяч. Это случилось так: в один прекрасный день к Грефенгейму явился унтер-штурмфюрер, родственник преемника, и предложил на выбор – либо ждать отправки в концлагерь за незаконный прием больных, либо взять тысячу марок и написать расписку на тридцать тысяч. Грефенгейм ни минуты не колебался, он знал, какое решение принять. Жена его и так созрела

для сумасшедшего дома. Но разводиться все еще не желала. Она верила, что спасает мужа от лагеря. Жена Грефенгейма была согласна развестись при одном условии – если Грефенгейму разрешат уехать. Ей нужно было знать, что он в безопасности.

Наконец им все же счастье улыбнулось! Как-то ночью к Грефенгейму пришел тот же самый унтер-штурмфюрер, за это время уже успевший стать обер-штурмфюрером. Он был в штатском и, помявшись немного, изложил свою просьбу: сделать аборт девице. Обер-штурмфюрер был женат, и его супруга не разделяла национал-социалистской идеи о том, что арийские производители должны иметь большое потомство чистых кровей, даже если в скрещивании будут участвовать разные особи. Супруга обер-штурмфюрера считала, что чистых кровей у нее самой предостаточно. Грефенгейм сначала отказывался – подозревая западню. Осторожности ради он сослался на своего преемника, тот ведь тоже врач. Почему бы обер-штурмфюреру не обратиться к нему? Тем более преемник – его родственник и тем более – тут Грефенгейм проявил сугубую осмотрительность – он должен испытывать благодарность к обер-штурмфюреру. Но обер-штурмфюрер привел свои контрдоводы. «Этот сукин сын не желает! – сказал он. – Стоило мне только намекнуть ему, как он разразился целой речугой в духе национал-социализма о наследственных признаках, генетическом достоянии нации и прочей чепухе. Сами видите, благодарности не жди. А ведь без меня он не получил бы вашей практики!» Грефенгейм не заметил ни тени иронии на упитанном лице обер-штурмфюрера. «Вы – дело другое, – продолжал обер-штурмфюрер. – Мы не станем выносить сора из избы. А мой тесть, эдакий мерзавец, проболтается рано или поздно. Или всю жизнь будет меня шантажировать». – «Но вы и сами сумеете его шантажировать, раз он пойдет на недозволенное хирургическое вмешательство», – осмелился возразить Грефенгейм. «Я простой солдат, – прервал его обер-штурмфюрер. – Эти штуки не по мне. Предпочитаю иметь дело с вами, дорогуша. Мы друга друга поймем с полуслова. Вам запрещено работать, а ей запрещено делать аборт. Стало быть, никто ничем не рискует. Она придет к вам сегодня ночью, а утром уйдет домой. Порядок?» – «Нет! – сказала жена Грефенгейма из-за двери. Мучимая страхом, она подслушала весь разговор. Сейчас эта полубезумная стояла в дверях. Грефенгейм вскочил. – Оставь меня! – сказала жена. – Я все слышала. Ты и пальцем не шевельнешь, не шевельнешь пальцем до тех пор, пока не получишь разрешение на выезд. Такова – цена. Обеспечьте ему разрешение», – сказала она, оборачиваясь к обер-штурмфюреру. Тот попытался растолковать ей, что это не в его ведении. Но жена Грефенгейма была неумолима. Тогда обер-штурмфюрер собрался уходить. Жена стала угрожать ему – она все расскажет его начальнику. Кто ей поверит? Пусть свидетельствует против него, он тоже будет свидетельствовать. Посмотрим, чья возьмет. Под конец он ей Бог знает чего наобещал. Но жена Грефенгейма не поверила ему. Сперва разрешение на выезд – потом аборт.

Невозможное совершилось. В дебрях этого забюрократизированного царства ужасов попадались иногда оазисы. Девушка пришла к Грефенгейму. Это случилось примерно две недели спустя. Ночью. А потом, когда все благополучно миновало, обер-штурмфюрер разъяснил Грефенгейму, что он обратился к нему еще и по другой причине: врачу-еврею он доверял больше, чем этому остолопу, своему тестю. До последней минуты Грефенгейм страшился западни. Обер-штурмфюрер вручил ему двести марок гонорара. Грефенгейм отказался. Тогда обер-штурмфюрер насильно засунул ему деньги в карман. «Вам, дорогуша, они еще пригодятся». Обер-штурмфюрер и впрямь любил эту девицу. Исполненный подозрительности, Грефенгейм даже не попрощался с женой. Он вообразил, что так обманет судьбу. И загадал: если он попрошачется, его вернут обратно. Грефенгейму удалось бежать. А теперь, сидя в Филадельфии, он горько раскаивался, что уехал, не поцеловав жену. Мысль эта не давала ему покоя. И он не имел никаких вестей из дома. Впрочем, иметь вести было почти невозможно, ведь вскоре началась война.

Перед гостиницей «Ройбен» стоял «роллс-ройс». За рулем сидел шофер. «Роллс-ройс» производил впечатление золотого слитка в груди пепла.

– Вот наконец подходящий кавалер для вас, – сказал Меликов, сидевший в глубине плюшевого холла. – Я, к сожалению, занят.

В углу стояла Наташа Петрова.

– Неужели этот роскошный «роллс-ройс» принадлежит вам?

– Взят взаймы, – ответила она. – Как платья и драгоценности, в которых меня фотографируют. У меня все не свое, все не подлинное.

– Голос у вас свой, а «роллс-ройс» – подлинный.

– Пусть так. Но мне все равно ничего не принадлежит. Скажем так: я обманщица, но вещи у меня подлинные. Вас это больше устраивает?

– Да, но это гораздо опаснее, – сказал я.

– Наташе нужен кавалер, – вмешался Меликов. – Этот «роллс-ройс» дали ей только на сегодняшний вечер. Завтра она должна его вернуть. Не хочешь ли стать на один вечер авантюристом и пожить в свое удовольствие?

Я засмеялся.

– Примерно так я и поступаю много лет. Но без машины. Машина для меня нечто новое.

– Вдобавок мы держим шофера, – сказала Наташа Петрова, – и даже в ливрее. В английской ливрее.

– Мне следует переодеться?

– Конечно, нет! Посмотрите на меня.

Переодеться мне, кстати, было не во что. Я имел всего два костюма, и сегодня на мне был лучший из них.

– Поедете со мной? – спросила Наташа Петрова.

– С удовольствием.

Для меня это было самое верное средство избавиться от мыслей о Грэфенгейме.

– Сегодняшний день, кажется, станет счастливым, – сказал я. – Я ведь дал себе три дня отпуска. Но о таких сюрпризах даже не смел мечтать.

– Вы можете сами давать себе отпуск? Я – не могу.

– Я – тоже. Но в данный момент я меняю место работы. Через три дня стану зазывалой, окантовщиком и слугой у одного торговца картинами.

– Продавцом тоже?

Секунду Наташа Петрова внимательно смотрела на меня.

– Избави Бог! Этим занимается сам господин Силверс.

– А вы разве не умеете продавать?

– Слишком мало смыслу в этом деле.

– В том, что ты продаешь, вовсе не надо смыслить. Именно тогда продаешь всего успешней. Не видя изъянов, чувствуешь себя свободнее.

– Откуда вы все это знаете? – засмеялся я.

– Мне тоже иногда приходится продавать. Платья и шляпки. – Она опять внимательно посмотрела на меня. – Но за это я получаю комиссионные. Вам тоже надо их потребовать.

– Пока еще вообще неизвестно, не заставят ли меня подметать пол и подавать клиентам кофе. Или коктейли.

Мы медленно проезжали по улице. Перед нами маячила широкая, обтянутая вельветом спина шофера и его бежевая фуражка. Наташа нажала на какую-то кнопку – и из стенки, обшитой красным деревом, появился складной столик.

– Вот вам и коктейли! – сказала она и сунула руку в нишу, оказавшуюся под столиком: там стояло несколько бутылок и рюмок. – Холодные как лед! – объяснила Наташа. – Последний

крик моды! Маленький встроенный холодильник. Ну так что же? Водки, виски или минеральной воды? Водки? Я угадала?

– Разумеется.

Я взглянул на бутылку.

– Настоящая русская водка. Как она сюда попала?

– Нектар! Или даже лучше. Одно из немногих приятных последствий войны. Человек, которому принадлежит машина, имеет какое-то отношение к внешней политике, и ему приходится часто ездить в Россию и в Вашингтон. – Наташа засмеялась. – Впрочем, к чему вопросы? Давайте просто наслаждаться. Мне разрешили пить эту водку.

– Но не мне.

– Человек, которому принадлежит машина, знает, что я не стану разезжать в его «роллс-ройсе» одна.

Водка была замечательная. Все, что я пил до этого, казалось мне теперь слишком крепким и невкусным.

– Еще рюмку? – спросила Наташа.

– Не возражаю. Видно, такова уж моя судьба – примкнуть к тем, кто наживается на войне. Мне разрешили въезд в Штаты, потому что идет война. Я получил работу, потому что идет война. Против воли я стал паразитом.

Наташа Петрова подмигнула мне.

– А почему бы вам не стать им по собственной воле? Это куда приятней.

Мы ехали сейчас вверх по Пятой авеню вдоль парка.

– Скоро начнутся ваши владения, – сказала Наташа Петрова.

Через некоторое время мы свернули на Восемьдесят шестую улицу. Это была широкая, типично американская улица, и все-таки она сразу напомнила мне маленькие немецкие городишки. По обе стороны мелькали кондитерские, пивнушки, сосисочные.

– Здесь все еще говорят по-немецки? – спросил я.

– Сколько угодно. Американцы не мелочны. Они никого не сажают. Не то что немцы. – Наташа Петрова засмеялась. – Впрочем, и американцы сажают. К примеру, японцев, которые здесь жили.

– А также французов и немецких эмигрантов, которые жили в Европе.

– По-моему, всюду сажают не тех, кого надо. Правда?

– Возможно. Как бы то ни было, нацисты с этой улицы разгуливают на свободе. Нельзя ли нам поехать куда-нибудь еще?

Секунду Наташа Петрова смотрела на меня молча, потом задумчиво сказала:

– С другими я не такая. Что-то раздражает меня в вас.

– Ценное признание. Со мной происходит то же самое.

Она не обратила внимания на мои слова.

– Раздражает. Нечто похожее на скрытое самодовольство, – сказала она, – оно так далеко запрятано, что не доберешься. Но это злит. Вы меня понимаете?

– Безусловно. В других это злит и меня. Но к чему такой разговор?

– Чтобы вас позлить, – ответила Наташа Петрова, – только поэтому. А что вас раздражает во мне?

– Ничего, – сказал я, рассмеявшись.

Наташа вспыхнула. И я тут же раскаялся, но было уже поздно.

– Чертов немец! – пробормотала она. Лицо у нее побледнело, она избегала встречаться со мной взглядом.

– Возможно, вам будет интересно узнать, что Германия лишила меня гражданства, – ответил я и разозлился на самого себя за эти слова.

– Ничего удивительного. – Наташа Петрова постучала в стекло. – А теперь к гостинице «Ройбен».

– Извините, мадам, – сказал шофер, – на какой она улице?

– Это та гостиница, у которой вы меня ждали.

– Очень хорошо.

– Зачем подвозить меня к гостинице? – сказал я. – Могу выйти сейчас. Автобусов везде сколько угодно.

– Ваша воля. Тем более, здесь – ваши родные места.

– Остановите, пожалуйста! – сказал я, обращаясь к шоферу, и вышел из машины. – Большое спасибо, Наташа.

Она не ответила. Я стоял на Восемьдесят шестой улице в Нью-Йорке и смотрел не отрываясь на кафе «Гинденбург», откуда доносились звуки духового оркестра. В кафе «Скрипач» был выставлен домашний крендель. В соседней витрине висели кровяные колбасы. Вокруг меня слышалась немецкая речь. Все эти годы я не раз представлял себе, как было бы хорошо вернуться к своим. Но не о таком возвращении я мечтал.

IX

У Силверса я поначалу должен был составлять каталог на все когда-либо проданное им и отмечать на фотографиях картин имена их прежних владельцев.

– Самое трудное, – говорил Силверс, – это установить подлинность старых полотен. Никогда нельзя быть уверенным в их подлинности. Картины – они как аристократы. Их родословную надо проследить вплоть до написавшего их художника. И линия эта должна быть непрерывной: от церкви Х к кардиналу А, от коллекции князя Y к каучуковому магнату Рабиновичу или автомобильному королю Форду. Пробелы здесь недопустимы.

– Но речь ведь идет об известных картинах?

– Ну и что? Фотография возникла лишь в конце девятнадцатого века. К тому же далеко не у всех старинных полотен есть копии, с которыми можно было бы свериться. Нередко приходится довольствоваться одними предположениями, – Силверс саркастически ухмыльнулся, – и заключениями искусствоведов.

Я сгреб в кучу фотографии. Сверху лежали цветные снимки картины Мане – небольшого натюрморта: пионы в стакане воды. Цветы и вода были как живые. От них исходило удивительное спокойствие и внутренняя энергия – настоящее произведение искусства! Казалось, художник впервые сотворил эти цветы и до него их не существовало на свете.

– Нравится? – спросил Силверс.

– Прелестно.

– Лучше, чем розы Ренуара там на стене?

– Это совсем другое, – сказал я. – В искусстве вообще вряд ли уместно слово «лучше»!

– Уместно, если ты – антиквар.

– Эта картина Мане – миг творения, тогда как Ренуар – само цветение жизни.

Силверс покачал головой.

– Недурно. Вы были писателем?

– Всего лишь журналистом, да и то плохоньким.

– Вам сам Бог велел писать о живописи.

– Для этого я слишком слабо в ней разбираюсь.

На лице Силверса вновь появилась саркастическая усмешка.

– Думаете, люди, которые пишут о картинах, разбираются в них лучше? Скажу вам по секрету: о картинах нельзя писать – как вообще об искусстве. Все, что пишут об этом, служит лишь одной цели – просвещению невежд. Писать об искусстве нельзя. Его можно только чувствовать.

Я не возражал.

– И продавать, – добавил Силверс. – Вы, наверное, это подумали?

– Нет, – ответил я и не покривил душой. – А почему вы решили, что мне сам Бог велел писать о картинах? Потому что писать о них нечего?

– Все-таки это лучше, чем быть плохоньким журналистом.

– Как знать.

Силверс рассмеялся:

– Вы, как и многие европейцы, мыслите крайностями. Или это свойственно молодежи? Однако вы уже не так молоды. А ведь между крайностями есть еще множество всяких вариантов и нюансов. У вас же об этом неверные представления. Я вот хотел стать художником. И стал им. Писал со всем энтузиазмом, присущим заурядному художнику. А теперь я антиквар и торгую картинами – со всем присущим этой профессии цинизмом. Ну и что? Предал я искусство тем, что не пишу больше плохих картин, или предаю его тем, что торгую картинами?

Размышления в летний день в Нью-Йорке, – помолчав, сказал он и предложил мне сигару. – Попробуйте-ка вот эту сигару. Самая легкая из всех гаванских. Вы любите сигары?

– Я еще плохо в них разбираюсь. Курю все, что попадает под руку.

– Вам можно позавидовать.

Я удивленно поднял голову:

– Это для меня новость. Не думал, что этому можно завидовать.

– У вас все еще впереди – выбор, наслаждение и пресыщение. Под конец остается лишь пресыщение. Чем ниже ступень, с которой начинаешь свой путь, тем позже наступает пресыщение.

– По-вашему, начинать надо с варварства?

– Если угодно.

Я обозлился. Варваров мне довелось видеть предостаточно. Эти салонные эстетические концепции меня раздражали – ими можно забавляться в более безмятежные времена. Даже за восемь долларов в день я не желал слушать разглагольствования Силверса. Я показал ему кипу фотографий.

– В картинах импрессионистов, наверное, проще разобраться, чем в картинах эпохи Ренессанса, – сказал я. – Все-таки они писали на несколько столетий позже. Дега и Ренуар дожили до первой мировой войны, а Ренуар даже пережил ее.

– И тем не менее появилось уже немало подделок и Ренуара, и Дега.

– Стало быть, единственной гарантией является тщательная экспертиза?

Силверс усмехнулся:

– Экспертиза или чутье. Нужно знать сотни картин. Видеть их вновь и вновь. На протяжении многих лет. Смотреть, изучать, сравнивать. И снова смотреть.

– Ну, разумеется, – сказал я. – Только почему же тогда многие директора музеев ошибаются в своих заключениях?

– Одни – умышленно. Но это быстро выходит наружу. Другие на самом деле ошибаются. Почему? Вот мы и подошли к вопросу о различии между директором музея и коммерсантом. Директор музея покупает редко и за счет музея. Коммерсант покупает часто – и всегда за свой счет. Не кажется ли вам, что этим они и отличаются друг от друга? Если коммерсант в чем-то ошибается, он теряет свои деньги. Директору же музея гарантирован каждый цент жалованья. У него интерес к картинам чисто академический, а у коммерсанта – финансовый. Естественно, что у коммерсанта взгляд острее, он большим рискует.

Я принялся разглядывать этого изысканно одетого человека. Костюм и ботинки на нем были английские, рубашка – из лучшего парижского магазина. Он был выхолен и благоухал французским одеколоном. И мне показалось, что он отделен от меня стеклянной стеной: я слышал все, что он говорил, но так, будто он где-то далеко-далеко. Он жил в некоем темном мире, мире головорезов и разбойников – в этом я был уверен, – но разбойников весьма элегантных и весьма коварных. Все, что он говорил, было верно и в то же время неверно. Все представало в странно искаженном виде. На первый взгляд Силверс производил впечатление спокойного, убежденного в своем превосходстве человека, но у меня было такое чувство, что он в любую минуту может превратиться в безжалостного дельца и не убоится пойти по трупам. Его мир насквозь фальшив, он слагался из мыльных пузырей благозвучных фраз и сомнительной близости к искусству, в котором Силверс разбирался лишь в ценах. Человек, действительно любящий картины, не стал бы ими торговать, подумалось мне.

Силверс посмотрел на часы.

– На сегодня хватит. Мне пора в клуб.

Меня несколько не удивило, что он торопился туда. Это вполне вязалось с моим представлением о его нереальном существовании за «стеклянной стеной».

– Мы найдем общий язык, – сказал он и провел рукой по складке брюк.

Я невольно посмотрел на его ботинки. Он был слишком уж элегантен. Носки ботинок были чуть острее, чем нужно, а цвет – чуть светлее. Покрой костюма несколько вызывающий, а галстук – чересчур пестрый и шикарный. Он в свою очередь окинул взглядом мой костюм.

– Вам в нем не жарко?

– Когда очень жарко, я снимаю пиджак.

– Это не годится. Купите себе костюм из тропикала. Американские готовые вещи очень добротны. Здесь даже миллионеры редко шьют костюмы на заказ. Купите в магазине братьев Брук. А хотите подешевле – у «Браунинг энд Кинг». За шестьдесят долларов можно приобрести нечто вполне приличное.

Силверс вытащил из кармана пиджака пачку банкнот. Я еще раньше заметил, что у него нет бумажника.

– Вот, – сказал он и протянул мне сто долларов. Считайте это авансом.

Стодолларовая бумажка жгла мне карман. У меня еще было время зайти в магазин «Браунинг энд Кинг». Я шел по Пятой авеню, славя имя Силверса в безмолвной молитве. Лучше всего было бы сохранить деньги и донашивать старый костюм. Но это было невозможно. Через несколько дней Силверс наверняка спросит меня о костюме. Так или иначе, после всех лекций об искусстве, как о наилучшем помещении капитала, мой собственный капитал удвоился, хоть я и не приобрел картины Мане.

Через некоторое время я свернул на Пятьдесят четвертую улицу. Чуть подальше находился небольшой цветочный магазин, где продавались очень дешевые орхидеи – может быть, не совсем свежие, но это было незаметно. Накануне Меликов дал мне адрес фирмы, где работала Наташа Петрова. В мыслях у меня был полный разброд – я так и не понял, что представляет собой эта женщина: то она казалась мне модницей и шовинисткой, то я сам себе казался вульгарным плебеем. Теперь, похоже, в мою жизнь вмешался Бог, о чем свидетельствовала стодолларовая бумажка, лежавшая у меня в кармане. Я купил две орхидеи и послал Наташе. Цветы стоили всего пять долларов, но производили впечатление более дорогих, что было весьма кстати.

В магазине «Браунинг энд Кинг» я выбрал себе легкий серый костюм, причем подгонять пришлось только брюки.

– Завтра вечером будет готово, – сказал продавец.

– А нельзя ли получить костюм сегодня?

– Уже поздно.

– Он мне очень нужен сегодня вечером, – настаивал я.

Особой срочности в этом не было, но на меня вдруг напала блажь получить новый костюм как можно скорее. В конто веки я мог себе это позволить, и мне в голову внезапно пришла глупая мысль, будто новый костюм знаменует собой конец моей бездомной эмигрантской жизни и начало оседлого обывательского существования.

– Попробуйте это устроить, – попросил я.

– Пойду узнаю в мастерской.

Я стоял между длинными рядами развешанных костюмов и ждал. Казалось, костюмы со всех сторон шли маршем на меня, как армия автоматов, доведенных до верха совершенства, когда в человеке уже нет нужды. Продавец, прошмыгнувший по безмолвным рядам, показался мне анахронизмом.

– Все в порядке. Приходите часов в семь.

– Очень вам благодарен.

Я вышел на раскаленную пыльную улицу.

Я свернул на Третью авеню. Лоу-старший украшал витрину. Я предстал перед ним во всем великолепии своего нового костюма. Он вытаращил глаза, точно филин ночью, и махнул канделябром, предлагая мне войти.

– Замечательно, – сказал он. – Это уже первый плод вашей деятельности в качестве обермошенника?

– Нет, всего лишь аванс от человека, которому рекомендовали меня вы, господин Лоу.

Лоу ухмыльнулся:

– Целый костюм. Tiens¹⁵

– И даже деньги еще остались. Силверс посоветовал мне магазин братьев Брук. Я же выбрал более скромный.

– У вас вид авантюриста.

– Благодарю вас. Так оно и есть.

– Кажется, вы уже неплохо спелись, – пробурчал Лоу и принялся устанавливать на фоне генуэзского бархата прелестного свежераскрашенного ангела восемнадцатого века. – Удивительно, что вы вообще еще появляетесь среди нас, мелких сошек.

Я молча глядел на него. Маленький толстяк, оказывается, ревновал, хотя сам же направил меня к Силверсу.

– Вас больше устроило бы, если бы я ограбил Силверса? – спросил я.

– Между ограблением и лизанием зада есть определенная разница!

Лоу поставил на место французский стул, у которого лишь половина ножки была действительно старинной. Меня охватило теплое чувство. Ко мне уже давно никто не относился с такой бескорыстной симпатией. А задумался я над этим лишь совсем недавно. Мир полон добрых людей, но замечаешь это, лишь когда оказываешься в беде. И это является своего рода компенсацией за трудные минуты жизни. Удивительный баланс, заставляющий в минуты отчаяния уверовать даже в очень далекого, обезличенного, автоматического Бога, восседающего перед пультом управления. Впрочем, только в минуты отчаяния – и никогда больше.

– Что вы так на меня уставились? – спросил Лоу.

– Славный вы человек, – искренне воскликнул я. – Прямо отец родной!

– Что?

– Это я так... В неопределенно-трансцендентном смысле.

– Что? – переспросил Лоу. – У вас, надо понимать, все хорошо, раз вы несете такой вздор. Вздор, да и только. Вам что, так уж нравится состоять при этом паразите? – Он вытер пыль с ладоней. – Наверное, у него черную работу делать не приходится, не так ли? – Он швырнул грязное полотенце за штору на груды японских офортов в рамках. – Ну как, там лучше, чем здесь?

– Нет, – ответил я.

– Так я и поверил!

– Просто там все иначе, господин Лоу. Когда глядишь на прекрасные картины, все остальное отступает на второй план. К тому же картины – не паразиты!

– Они жертвы, – неожиданно спокойно произнес Лоу-старший. – Представьте себе, каково бы им пришлось, будь у них разум! Ведь их продают, как рабов. Продают торговцам оружием, военным, промышленникам, дельцам, сбывающим бомбы! На обгаренные человеческой кровью деньги эти типы приобретают картины, излучающие мир и покой.

Я взглянул на Лоу.

– Ну, хорошо, – сказал он. – Пусть эта война иная. Но такая ли уж она иная для этих паразитов! Их цель – заработать, нажиться, а где и как – им все равно. Если понадобится,

¹⁵ Смотри-ка (франц.).

они готовы и дьяволу... – Лоу замолк. – Юлий идет, – прошептал он. – Боже праведный, в смокинге! Все погибло!

Лоу-младший не был в смокинге. Мы увидели его в ту секунду, когда он входил с улицы, освещенный последним грязновато-медвяным лучом солнца, весь пропахший бензином и выхлопными газами. На нем была узкая визитка цвета маренго, полосатые брюки, котелок и, к моему удивлению, светло-серые старомодные гетры.

Я с умилением рассматривал их, ибо ничего подобного не видел с догитлеровских времен.

– Юлий! – воскликнул Лоу-старший. – Пстой, подожди. В последний раз говорю: вспомни хотя бы о своей благочестивой матери!

Юлий медленно переступил порог.

– О матери я помню, – сказал он. – А ты не сбивай меня с толку, еврейский фашист!

– Юлий, побойся Бога. Разве я не желаю тебе добра? Разве я не заботился о тебе, как только может заботиться старший брат, разве не ухаживал за тобой, когда ты болел, ты...

– Мы близнецы, – заметил Юлий, обращаясь ко мне. – Я вам уже говорил, что брат старше меня всего на три часа.

– Иной раз три часа значат больше, чем целая жизнь. Ты всегда был мечтателем, не от мира сего, мне вечно приходилось смотреть за тобой, Юлий. Ты же знаешь, я всегда думал о твоём благе, а ты вдруг стал относиться ко мне, как к своему заклятому врагу.

– Потому что я хочу жениться.

– Потому что ты хочешь жениться Бог знает на ком. Господин Росс, вы только взгляните на него, прямо жалость берет, он стоит здесь с таким видом, будто собирается взять барьер. Юлий! Юлий! Опомнись! Не спеши! Он, видите ли, хочет сделать предложение по всем правилам, как какой-нибудь коммерции советник. Тебя опоили любовным зельем, вспомни о Тристане и Изольде и несчастье, которое их постигло. Своего родного брата ты называешь фашистом за то, что он хочет предостеречь тебя от неверного шага. Юлий, найди себе добропорядочную еврейку.

– Не нужна мне добропорядочная еврейка. Я хочу жениться на женщине, которую люблю!

– Нет, вы только подумайте, он ее любит! Посмотри, на кого ты похож! Он собирается сделать ей предложение. Вы только поглядите на него, господин Росс!

– Ничем не могу вам помочь, – сказал я. – На мне тоже новый костюм. Костюм для обертмошенника. Не так ли, господин Лоу?

– Это я пошутил.

Вскоре разговор вошел в более спокойное русло. Юлий взял назад свои слова о «еврейском фашисте» и обозвал брата «сионистом», а затем – «семейным фанатиком». В пылу спора Лоу-старший допустил одну тактическую ошибку. Он сказал, что мне, к примеру, вовсе не обязательно жениться на еврейке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.